



ФРИДРИХ

НИЦШЕ

*АНТИХРИСТ
ЕССЕ НОМО
СУМЕРКИ ИДОЛОВ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ФРИДРИХ НИЦШЕ

*АНТИХРИСТ
ЕССЕ НОМО
СУМЕРКИ ИДОЛОВ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)
Н70

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с немецкого

Серийное оформление *Е. Ферез*

Дизайн обложки *А. Чаругиной*

Ницше, Фридрих.

Н70 Антихрист. Ессе Номо. Сумерки идолов : [перевод с немецкого]. / Фридрих Ницше. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 352 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-115205-5

Что такое христианство? Религия добра и милосердия — или «религия неудачников», связывающая руки сильной личности и опутывающая верующих комплексом вины?

Как следует поступать со своими «внутренними демонами»? Подавлять ли их, загоняя все глубже, или, напротив, научиться принимать их — ведь таков лучший способ ими управлять?

И, наконец, что важнее — чувственное или интеллектуальное восприятие мира? Нравственность, контролирующая инстинкты, или сами эти инстинкты?..

«Антихрист» и «Ессе Номо» ждали выхода в свет годами. Даже учитывая скандальную славу «ниспровергателя общественной морали» и кумира бунтующей молодежи, которая уже окружала автора «Так говорил Заратустра» ко времени их написания, не находилось издателя, который рискнул бы опубликовать такие тексты. Однако в 1895-м году они все же были изданы — и грянул гром.

Их запрещали и осуждали. Автор предавали моральной анафеме. А его учение тем временем захватывало умы все новых и новых молодых интеллектуалов...

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

АНТИХРИСТ

Проклятие христианству

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего «Заратустру»; как *мог бы* я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди рождаются *posthum*.

Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают *с необходимостью*, — я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах — видеть *под* собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности... Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества; мужество к *запретному*; предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые

глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немymi. *И* воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу, свое *вдохновение*. Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя...

Итак, только это — мои читатели, мои настоящие читатели, мои predeterminedенные читатели: что за дело до *остального*! Остальное — лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, *высотой* души — презрением...

Фридрих Ницше

1

— Обратимся к себе. Мы гипербореи — мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гиперборейам» — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти — *наша* жизнь, *наше* счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? — Неужели современный человек? — «Я не знаю, куда деваться: я всё, что не знает, куда деваться», — вздыхает современный человек. *Этой* современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, *largeur** сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас, как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, *куда* нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. *Нашим* фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел, мы оставались

* широта (*фр*).

вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозные тучи вокруг, мрак внутри нас: *мы не имели пути*; формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель...

2

Что хорошо? — Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самое власть...

Что дурно? — Все, что происходит из слабости.

Что есть счастье? — Чувство *растущей* власти, чувство преодолеваемого противодействия.

Не удовлетворенность, но стремление к власти, *не* мир вообще, но война, *не* добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанс, *virtù*, добродетель, свободная от моралина).

Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение *нашей* любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.

Что вреднее всякого порока? — Деятельное страдание ко всем неудачникам и слабым — христианство...

3

Моя проблема не в том, как завершает собою человечество последовательный ряд сменяющихся существ (человек — это *конец*), но какой тип человека следует *взрастить*, какой тип *желателен* как более ценный, более достойный жизни, будущности.

Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, — и никогда как нечто *преднамеренное*. Наоборот, — *его* боялись более всего; до сих пор он внушал

почти ужас, и из страха перед ним желали, возвращали и *достигали* человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного — христианина...

4

Человечество *не* представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно *не* представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.

Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур, удается проявление того, что фактически представляет собою *высший тип*, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.

5

Не следует украшать и вырывать христианство: оно объявило *смертельную войну* этому *высшему* типу человека, оно отсеклось от всех основных инстинктов этого типа; из этих инстинктов оно выщедило понятие зла, злого человека: сильный человек сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло

сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из *противоречия* инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как *искушения*. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство! —

6

Мучительное, страшное зрелище представилось мне: я отдернул завесу с *испорченности* человека. В моих устах это слово свободно по крайней мере от одного подозрения: будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это — я желал бы подчеркнуть это еще раз — лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к «добродетели», к «божественности». Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле *décadence*: я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится, как к наивысшим, — суть *ценности décadence*.

Я называю животное — род, индивидуум — испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно *предпочитает* то, что ему вредно. История «высоких чувств», «идеалов человечества» — может быть, именно мне нужно ею заняться — была бы почти только выяснением того, *почему* человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною как

инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, *власти*: где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества *недостаёт* этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, *нигилистические* ценности.

7

Христианство называют религией *сострадания*. Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства; оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание; при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины (случай смерти Назореянина). Вот первая точка зрения, но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение. Осмелились назвать сострадание добродетелью (в каждой *благородной* морали оно считается слабостью); пошли еще дальше: сделали из него добродетель по преимуществу, почву и источник всех добродетелей,

конечно, лишь с точки зрения нигилистической философии, которая пишет на своем щите *отрицание жизни*, — и это надо всегда иметь в виду. Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более *достойной отрицания*, — сострадание есть *практика* нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: *умножая* бедствие и *охраняя* все бедствующее, оно является главным орудием *décadence* — сострадание увлекает в *ничто!*.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или «*истинная жизнь*», или нирвана, спасение, блаженство... Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается *гораздо менее невинной*, когда поймешь, *какая* тенденция облачается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, *враждебная жизни*. Шопенгауэр был враждебен жизни — *поэтому* сострадание сделалось у него добродетелью... Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию — как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство *удалить хирургическим путем* такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический *décadence* от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)... Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. *Здесь* быть врачом, *здесь* быть неумолимым, *здесь* действовать ножом, — это надлежит *нам*, это *наш* род любви

к человеку, с которой живем *мы* — философы, мы — гипербореи! —

8

Необходимо сказать, *кого* мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, — всю нашу философию... Нужно вблизи увидеть роковое, больше того — нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть *шутка*; им недостает страсти в этих вещах, они не *страдают* ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока... Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит *сверху вниз*, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом, — *святостью* гораздо более, чем всякими ужасами и пороками... Чистый дух — есть чистая ложь... Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни *по призванию*, считается еще человеком *высшей* породы, — нет ответа на вопрос: что *есть* истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами...

Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется *вера*, т.е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с *фальшивым* взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь *иная* оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая *подземная* форма лжи, которая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то *должно* быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины. Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается *оценка*, — необходимо подменяются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным». Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (*или* народов), протягивают руку к *власти*, то мы не сомневаемся, *что*, собственно, каждый раз тут происходит: воля к концу, *нигилистическая* воля волит власти...

Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор — дедушка немецкой философии, сам протестантизм ее *peccatum originale**. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства — *и* разума... Достаточно сказать слово «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем — *коварная* теология... Швабы — лучшие лжецы в Германии, — они лгут невинно... Откуда то ликование при появлении *Канта*, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот *к лучшему*? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, *что* теперь снова сделалось — возможным... Открылась лазейка к старому идеалу; понятие «*истинный мир*», понятие о морали как *сущности* мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) — эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не *опровергаются*... Разум, *право* разума сюда не достигает... Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность... Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности. —

* первородный грех (*лат.*).

Еще одно слово против Канта как *моралиста*. Добродетель должна быть *нашим* изобретением, *нашей* глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обуславливает нашу жизнь, то *вредит* ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности — все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе *свою* добродетель, *свой* категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает *свой* долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. — Разве не чувствуется категорический императив Канта, как *опасный для жизни!*.. Только инстинкт теолога взял его под защиту! — Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия, им вызываемом, доказательство своей *правильности*; а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за *возражение*... Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без *удовольствия!* как автомат «долга»? Это как раз *рецепт décadence*, даже идиотизма... Кант сделался идиотом. — И это был современник *Гёте!* Этот роковой паук считался *немецким* философом! — Считается еще и теперь!.. Я остерегаюсь высказать, что я думаю

о немцах... Разве не видел Кант во Французской революции перехода неорганической формы государства в *органическую*? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была *доказана* «тенденция человечества к добру»? Ответ Канта: «это революция». Ошибочный инстинкт в общем и в частности, *противоприродное* как инстинкт, немецкая *décadence* как философия — *вот что такое Кант!* —

12

Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудачки, вместе взятые, все они поступают, как бабенки: «прекрасные чувства» принимают они за аргументы, «душевное вздыхание» за воздухоудвку Божества, убеждение за *критерий* истины. В конце концов еще Кант в «немецкой» невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести, под видом понятия «практический разум»: он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мораль провозглашает свое возвышенное требование: «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его *жюльничеству перед самим собой*, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если но-

сишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок, — *сам*, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!.. Что за дело жрецу до *науки*! Он стоит слишком высоко для этого! — И этот жрец до сих пор *господствовал*! — *Он определял* понятие «истинный» и «неистинный»!..

13

Оценим в должной мере то, что *мы сами*, мы, свободные умы, уже есть «переоценка всех ценностей», *воплощенный* клич войны и победы над всеми старыми понятиями об «истинном» и «неистинном». Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное — это *методы*. *Все* методы, *все* предпосылки нашей теперешней научности, встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий; из-за них иные исключались из общества «честных» людей, считались «врагами Бога», презирающими истину, «одержимыми». Научные склонности человека делали из него чандалу... Весь пафос человечества — его понятие о том, что *должно* быть истиной, чем *должно* быть служение истине — все было против нас: каждое «ты должен» было до сих пор направлено *против* нас... Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш — тихий, осмотрительный, недоверчивый — все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. — В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя: не *эстетический* ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины *живописного* эффекта, оно

требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувство. Наша *скромность* дольше всего претила его вкусу... О, как они это угадали, эти божьи индюки. —

14

Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех, — следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться: что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства... Утверждая это, мы утверждаем еще большее: человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для себя образом, — но, конечно, со всем этим и самое *интереснейшее!* — Что касается животных, то с достойною уважения смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как *machine*, — вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт: современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка — «свободную волю»; теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, — что под волей нельзя уже более подразумевать силу. Старое слово

«воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результанту, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью соглашающихся раздражений: воля более не «действует», более не «двигает»... Прежде видели в сознании человека, в «духе», доказательство его высшего происхождения, его божественности; ему советовали, если он хотел быть *совершенным*, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку: тогда от него должно было остаться главное — «чистый дух». Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем: как раз именно сознание, «дух», мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы; мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. «Чистый дух» есть чистая глупость: если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, «смертную оболочку», то мы *обсчитаемся* — вот и все!..

15

Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности. Чисто воображаемые *причины* («Бог», «душа», «Я», «дух», «свободная воля», — или даже «несвободная»); чисто воображаемые *действия* («грех», «искупление», «милость», «наказание», «прощение греха»). Общение с воображаемыми *существами* («Бог», «духи», «души»); воображаемая наука о *природе* (антропоцентрическая; полное отсутствие понятия о естественных причи-

нах); воображаемая *психология* (явное непонимание самого себя, толкование приятных или неприятных всем общих чувств — как, например, известных состояний *nervus sympathicus* — при помощи символического языка религиозно-моральной идиосинкразии, — «раскаяние», «угрызение совести», «искушение дьявола», «близость Бога»), воображаемая *телеология* («Царство Божье», «Страшный суд», «вечная жизнь»). — Этот мир чистых *фикций* сильно отличается не в свою пользу от мира грез именно тем, что последний *отражает* действительность, тогда как *первый* извращает ее, обесценивает, отрицает. Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «Бог», слово «природный», «естественный» должно было сделаться синонимом «недостойный» — корень всего этого мира фикций лежит в *ненависти* к естественному (действительности!); этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному... *И этим все объясняется.* У кого единственно есть основание *отречься* от действительности, *оклеветавши* ее? — У того, кто от нее *страдает*. Но страдать от действительности — это значит самому быть неудачной действительностью... Перевес чувства неудовольствия над чувством удовольствия есть *причина* этой фиктивной морали и религии, а такой перевес дает содержание *формуле* *décadence*...

16

К такому заключению вынуждает критика *христианского понятия о Боге*. — Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. В нем он чтит условия, благодаря которым он

поднялся, — свои добродетели. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Кто богат — хочет давать; гордый народ нуждается в божестве, чтобы *жертвовать*... Религия при таких предпосылках является выражением благодарности. Народ, благодарный за свое существование, нуждается для выражения этой благодарности в божестве. — Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом; ему удивляются как в добре, так и в зле. *Противоестественная* кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. В злом божестве так же нуждаются, как и в добром: ведь и собственное существование не есть лишь дар снисходительности и дружеского расположения к человеку... Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия? которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение *ardeurs** победы и уничтожения? Такое божество было бы и непонятно: к чему оно? — Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, его надежда на свободу, если покорность начинает входить в его сознание, как первая полезность, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество *должно* также измениться. Оно делается теперь пронырливым, боязливым, скромным, советует «душевный мир», воздержание от ненависти, осторожность, «любовь к другу и врагу». Оно постоянно морализирует, оно вползает в каждую частную добродетель, становится божеством для отдельного человека, становится

* пыл, рвение (*фр.*).

частным лицом, космополитом... Некогда божество представляло собою народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа — теперь оно только лишь благое божество... Поистине, для богов нет иной альтернативы: *или* они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, — *или же* они есть бессилие к власти — и тогда они по необходимости делаются *добрыми*...

17

Где понижается воля к власти в какой бы то ни было форме, там всякий раз происходит также и физиологический спад, *décadence*. Божество *décadence*, кастрированное в сильнейших своих мужских добродетелях и влечениях, делается теперь по необходимости Богом физиологически вырождающихся, Богом слабых. Сами себя они не называют слабыми, они называют себя «добрыми»... Понятно без дальнейших намеков, в какие моменты истории впервые делается возможной дуалистическая фикция доброго и злого Бога. Руководствуясь одним и тем же инстинктом, поработанные низводят своего Бога до «доброго в самом себе» и вместе с тем лишают Бога своих порабощателей его добрых качеств; они мстят своим господам тем, что их Бога *обращают в черта*. — *Добрый Бог*, равно как и черт, — то и другое суть исчадия *décadence*. Как можно еще в настоящее время так поддаваться простоте христианских теологов, чтобы вместе с ними декретировать, что дальнейшее развитие понятия о Боге от «Бога Израиля», от Бога народа, к христианскому Богу, к вместилищу всякого добра, — что это был *прогресс*? — Но сам Ренан делает это. Как будто Ренан имеет право на про-

стоту! А между тем противоположное бросается в глаза. Если из понятия о божестве удалены все предпосылки *возрастающей* жизни, все сильное, смелое, повелевающее, гордое, если оно опускается шаг за шагом до символа посоха для уставших, якоря спасения для всех утопающих, если оно становится Богом бедных людей, Богом грешников, Богом больных раг excellence и предикат «Спаситель», «Избавитель» делается как бы божеским предикатом вообще, — то о *чем* говорит подобное превращение, подобная *редукция* божественного? — Конечно, «Царство Божье» тем самым увеличилось. Прежде Бог знал только свой народ, свой «избранный» народ. Между тем он пошел, как и народ его, на чужбину, начал странствовать, и с тех пор он уже нигде не оставался в покое, пока наконец не сделался всюду туземцем — великий космополит, — пока не перетянул он на свою сторону «великое число» и половину земли. Но Бог «великого числа», демократ между богами, несмотря на это, не сделался гордым богом язычников; он остался иудеем, он остался богом закоулка, богом всех темных углов и мест, всех нездоровых жилищ целого мира!.. Царство его мира всегда было царством преисподней, госпиталем, царством souterrain*, царством гетто... И сам он, такой бледный, такой слабый, такой *décadent*... Даже самые бледные из бледных, господ метафизики, альбиносы понятия, стали над ним господами. Метафизики опутывали его своей пряжей до тех пор, пока он сам, загипнотизированный их движениями, не сделался пауком, сам не сделался метафизиком. Теперь он уже прятал мир из самого себя — *sub specie Spinozae*** — теперь он сам преобра-

* подполье (*фр.*).

** с точки зрения Спинозы (*лат.*).

жался, все утончаясь и бледнея; он стал «идеалом», стал «чистым духом», стал «absolutum», стал «вещью в себе»... *Падение божества*: Бог стал «вещью в себе»...

18

Христианское понятие о божестве (Бог как Бог больных, Бог как паук, Бог как дух) — это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на земле; быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в *противоречие с жизнью*, вместо того чтобы быть ее просветлением и вечным ее *утверждением*! Бог, объявляющий войну жизни, природе, воле к жизни! Бог как формула всякой клеветы на «посюстороннее», для всякой лжи о «потустороннем»! Бог, обожествляющий «ничто», освящающий волю к «ничто»!..

19

Сильные расы северной Европы не оттолкнули от себя христианского Бога, и это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря уже о вкусе. Они *должны* бы справиться с таким болезненным и слабым выродком *décadence*. Но за то, что они не справились с ним, на них лежит проклятие: они впитали во все свои инстинкты болезненность, дряхлость, противоречие, они уже не *создали* с тех пор более никакого Бога! Почти два тысячелетия — и ни одного нового божества! Но все еще он и как бы по праву, как бы *ultimatum* и *maximum* богообразовательной

силы, creator spiritus* в человеке, — все он, этот жалкий Бог христианского монотонотеизма! Этот гибрид упадка, образовавшийся из нуля, понятия и противоречия, в котором получили свою санкцию все инстинкты *décadence*, вся трусливость и усталость души! —

20

Осуждая христианство, я не хотел бы быть несправедливым по отношению к родственной религии, которая даже превосходит христианство числом своих последователей: по отношению к *буддизму*. Обе принадлежат к нигилистическим религиям, как религии *décadence*, и обе удивительно не похожи одна на другую. Теперь их уже можно *сравнивать*, и за это критик христианства должен быть глубоко благодарен индийским ученым. Буддизм во сто раз реальнее христианства, — он представляет собою наследие объективной и холодной постановки проблем, он является *после* философского движения, продолжавшегося сотни лет; с понятием «Бог» уже было покончено, когда он явился. Буддизм есть единственная истинно *позитивистская* религия, встречающаяся в истории; даже в своей теории познания (строгом феноменализме) он не говорит: «борьба против *греха*», но, с полным признанием действительности, он говорит: «борьба против *страдания*». Самообман моральных понятий он оставляет уже позади себя, — и в этом его глубокое отличие от христианства — он стоит, выражаясь моим языком, *по ту сторону* добра и зла. — Вот *два* физиологических факта, на которых он покоится и которые

* творческий дух (*лат.*).

имеет в виду: *первое* — преувеличенная раздражительность, выражающаяся в утонченной чувствительности к боли, *второе* — усиленная духовная жизнь, слишком долгое пребывание в области понятий и логических процедур, ведущее к тому, что инстинкт личности, ко вреду для себя, уступает место «безличному» (оба состояния, по опыту известные, по крайней мере некоторым из моих читателей — «объективным» подобно мне самому). На основе этих физиологических условий возникло состояние *депрессии*; против него-то и выступил со своей гигиеной Будда. Он предписывает жизнь на свежем воздухе, в странствованиях; умеренность и выбор в пище, осторожность относительно всех спиртных; предусмотрительность также по отношению ко всем аффектам, вырабатывающим желчь, разгорячающим кровь, — никаких *забот* ни о себе, ни о других. Он требует представлений успокаивающих или развеселяющих — он изобретает средства отучить себя от других. Он понимает доброту, доброжелательное настроение как требование здоровья. *Молитва* исключается, равно как и *аскеза*; никакого категорического императива, никакого *принуждения* вообще, даже внутри монастырской общины (откуда всегда возможен выход). Все это было бы средствами к усилению преувеличенной раздражительности. Поэтому именно он не требует никакой борьбы с теми, кто иначе думает; его учение *сильнее всего* вооружается против чувства мести, отвращения, *ressentiment* («не путем вражды кончается вражда» — трогательный рефрен всего буддизма). И это с полным правом: именно эти аффекты были бы вполне *нездоровы* по отношению к главной, *диететической*, цели. Если он встречает духовное утомление, которое выражается в слишком большой «объективности»

(т.е. в ослаблении индивидуального интереса, в потере «эгоизма»), он с ним борется тем, что придает даже и вполне духовным интересам строго *личный* характер. В учении Будды эгоизм делается обязанностью. «Необходимо одно: как *тебе* освободиться от страданий», — это положение регулирует и ограничивает всю духовную диету (быть может, следует вспомнить того афинянина, который также объявлял войну чистой «научности», а именно Сократа, поднявшего личный эгоизм в область моральных проблем).

21

Чрезвычайно мягкий климат, кротость и либеральность в нравах, *отсутствие* милитаризма — вот условия, предрасполагающие к буддизму; равно как и то, чтобы очагом движения были высшие и даже ученые сословия. Ясность духа, спокойствие, отсутствие желаний как высшая цель — вот чего хотят и чего *достигают*. Буддизм не есть религия, в которой лишь стремятся к совершенству: совершенное здесь есть нормальный случай. —

В христианстве инстинкты подчиненных и угнетенных выступают на передний план: именно низшие сословия ищут в нем спасения. Казуистика греха, самокритика, инквизиция совести практикуются здесь как *занятие*, как средство против скуки; здесь постоянно (путем молитвы) поддерживается пыл по отношению к *могущественному* существу, называемому «Бог»; высшее значится здесь как недостижимое, как дар, как «милость». В христианстве недостает также откровенности: темное место, закоулок — это в его духе. Тело здесь презирается, гигиена отвергается как

чувственность; церковь отвращается даже от чистоплотности (первым мероприятием христиан после изгнания мавров было закрытие общественных бань, каковых только в Кордове насчитывалось до двухсот семидесяти). Христианство есть в известном смысле жестокость к себе и другим, ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и волнующие представления здесь на переднем плане. Состояния, которых домогаются и отмечают высокими именами, — это эпилептоидные состояния. Диета приспособлена к тому, чтобы покровительствовать болезненным явлениям и крайне раздражать нервы. Христианство есть смертельная вражда к господам земли, к «знатным», и вместе с тем скрытое, тайное соперничество с ними (им предоставляют «плоть», себе хотят *только* «душу»...). Христианство — это ненависть к уму, гордости, мужеству, свободе; это — *libertinage* ума; христианство есть ненависть к *чувствам*, к радостям чувств, к радости вообще...

22

Когда христианство покинуло свою первоначальную почву, т.е. низшие сословия, *подонки* античного мира, когда оно вышло на поиски власти, очутилось среди варварских народов — с тех пор оно не могло уже более рассчитывать на *утомленных* людей, но ему предстояло иметь дело с людьми внутренне одичавшими и терзающими друг друга — людьми сильными, но неудачниками. Недовольство собою, страдание от самого себя *не* имеют здесь характера чрезмерной раздражительности и восприимчивости к боли, как у буддиста, а скорее наоборот, — чересчур сильное стремление к причинению боли, к разрешению вну-

тренного напряжения путем враждебных поступков и представлений. Христианству нужны были *варварские* понятия и оценки, чтобы господствовать над варварами: такова жертва первенца, причащение в виде питья крови, презрение духа и культуры, всевозможные — чувственные и сверхчувственные — пытки, помпезность культа. Буддизм — религия для *поздних* людей, для добрых, нежных рас, достигших высшей степени духовности, которые слишком восприимчивы к боли (Европа далеко еще не созрела для него); он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела. Христианство хочет приобрести господство над *дикими зверями*; средством его для этого является — сделать их *больными*. Делать слабым — это христианский рецепт к *приручению*, к «цивилизации». Буддизм есть религия цивилизации, приведшей к усталости, близящейся к концу, христианство еще не застаёт такой цивилизации, при благоприятных обстоятельствах оно само ее устанавливает. —

23

Буддизм, повторяю еще раз, в сто раз холоднее, правдивее, объективнее. Он не нуждается в том, чтобы своему страданию, своей болезненности придать вид *приличия*, толкуя его как грех, — он просто говорит то, что думает: «я страдаю». Для варвара, напротив, страдание само по себе есть нечто неприличное: он нуждается в известном истолковании, чтобы самому себе признаться, что он страдает (его инстинкт прежде всего указывает ему на то, чтобы отрицать страдание, скрывая его). Слово «дьявол» явилось здесь благодеянием: в нем имели налицо могуще-

ственного и сильного врага: можно было не стыдиться страдания от такого врага. —

Христианство имеет в основании несколько тонкостей, принадлежащих Востоку. Прежде всего оно знает, что само по себе безразлично, истинно ли то или другое, но в высшей степени важно, *настолько* верят, что оно истинно. Истина и *вера*, что известная вещь истинна, — это два мира совсем отдельных, почти *противоположных* интересов: к тому и другому ведут пути, в основе совершенно различные. Знать это — значит на Востоке *быть* почти мудрецом: так понимают это брамины, так понимает Платон, так же каждый ученик эзотерической мудрости. Если, например, *счастье* заключается в том, чтобы верить в спасение от греха, то для этого *нет* необходимости в предположении, чтобы человек был грешен, но только чтобы он *чувствовал* себя грешным. Но если вообще прежде всего необходима *вера*, то разум, познание, исследование необходимо дискредитировать: путь к истине делается *запрещенным* путем. — Сильная *надежда* есть гораздо больший жизненный *стимул*, чем какое бы то ни было действительно наступившее счастье. Страдающих можно поддержать надеждой, которая не может быть опровергнута действительностью, которая не устраняется осуществлением, — надеждой на потустороннее. (Именно благодаря этой способности поддерживать несчастных надежда считалась у греков злом, изо всех зол единственно *коварным* злом: она осталась в ларце зла.) — Чтобы была возможна *любовь*. Бог должен быть личностью; чтобы могли при этом заговорить самые низшие инстинкты, Бог должен быть молод. Чтобы воспламенить женщин, надо было выдвинуть на передний план прекрасного святого, для мужчин — Ма-

рию. Все это при предположении, что христианство будет господствовать там, где *понятие* культа уже определено культом Афродиты или Адониса. Требование *целомудрия* усиливает внутренний пыл религиозного инстинкта — оно делает культ горячее, мечтательнее, душевнее. — Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи *не* такими, каковы они есть. Здесь господствует сила иллюзии, одновременно *преображающая* и *успокаивающая*. При любви можно перенести больше, можно вытерпеть все. Необходимо изобрести религию, которая была бы преисполнена любви, с любовью можно перейти через самое плохое в жизни: его уже и вовсе не замечаешь. Вот что можно сказать о трех христианских добродетелях: вере, надежде, любви; я называю их тремя христианскими хитростями. — Буддизм слишком зрел и к тому же слишком позитивистичен для того, чтобы прибегать к подобным хитростям. —

24

Я здесь только коснусь проблемы *возникновения* христианства. *Первое* положение к ее решению гласит: христианство можно понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло, — оно *не* есть движение, враждебное иудейскому инстинкту, оно есть его последовательное развитие, силлогизм в его логической цепи, внушающей ужас. По формуле Искупителя: «спасение идет от иудеев». — *Второе* положение гласит: психологический тип Галилеянина еще доступен распознаванию, но быть пригодным для того, для чего он употреблялся, т.е. быть типом *Спасителя* человечества, он мог лишь при полном своем

вырождении (которое одновременно есть искалечение и перегрузка чуждыми ему чертами).

Евреи — это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, со внушающей ужас сознательностью предпочли быть *какою бы то ни было* ценою: и этою ценою было радикальное *извращение* всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя *от* всех условий, в которых до сих пор народ мог и *должен* был жить, они создали из себя понятие противоположности *естественным* условиям, непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в *противоречие к естественным ценностям этих понятий*. Подобное явление встречаем мы еще раз (и в несравненно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия): христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем *самый роковой* народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть *последний логический вывод иудаизма*.

В «Генеалогии морали» я впервые представил психологическую противоположность понятий *благородной* морали и морали ressentiment, выводя последнюю из *отрицания* первой; но эта последняя и есть всецело иудейско-христианская мораль. Чтобы сказать Нет всему, что представляет на земле *восходящее* движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение, — инстинкт ressentiment, сделавшийся гением, должен был изобрести себе *другой* мир, с точки зрения

которого это *утверждение жизни* являлось злом, недостойным само по себе. По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения, берет сторону всех инстинктов *décadence* — *не* потому, что они им владеют, но потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя *против* «мира». Евреи — это эквивалент всех *décadents*: они сумели *изобразить* их до иллюзии, с актерским гением до *non plus ultra*, сумели поставить себя во главе всех движений *décadence* (как христианство *Павла*), чтобы из них создать нечто более сильное, чем всякое иное движение, *утверждающее* жизнь. Для той человеческой породы, которая в иудействе и христианстве домогается власти, т.е. для *жреческой* породы, — *décadence* есть только средство: эта порода людей имеет свой жизненный интерес в том, чтобы сделать человечество *больным*, чтобы понятия «добрый» и «злой», «истинный» и «ложный» извратить в опасном для жизни смысле, являющемся клеветой на мир. —

25

История Израиля неопределима, как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности *лишались всякой естественности*: я отмечаю этот процесс пятью фактами. Первоначально, во времена Царей, и Израиль стоял ко всем вещам в *правильном*, т.е. естественном, отношении. Его Иегова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя: в нем ожидали победы и спасения, с ним доверяли природе, что она дает то, в чем

нуждается народ, и прежде всего дождь. Иегова — Бог Израиля и, *следовательно*, Бог справедливости: такова логика всякого народа, который обладает силою и с чистой совестью пользуется ею. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа: он благодарен за великие судьбы, которые возвышают, он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. — Это положение долго оставалось идеалом уже и после того, как ему был положен печальный конец, анархией внутри, ассириянами извне. Но народ выше всего ценил образ царя — хорошего солдата и вместе с тем строгого судью: так понимал это прежде всего Исайя — этот типичный пророк (т.е. критик и сатирик момента). — Но надежда не осуществлялась. Старый Бог ничего более не *мог* из того, что мог он ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? *Изменили* понятие о нем, — это понятие *лишили естественности*; этой ценой его *удержали*. — Иегова — Бог «справедливости» — *более не составляет* единства с Израилем, он не служит выражением народного самосознания: он только условный Бог... Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, всякое несчастье — как наказание за непослушание против Бога, как «грех»: извращенная манера мнимого «нравственного миропорядка», посредством которого раз навсегда извращаются естественные понятия «причина» и «действие». Теперь, когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в *противоестественной* причинности; отсюда следует вся дальнейшая *противоестественность*. Бог, который *требует*, — вместо Бога, который помогает, советует,

который в основе является словом для всякого счастливого вдохновения мужества и самодоверия... *Мораль* не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактною, становится противоположностью жизни, — мораль как коренное извращение фантазии, «дурной глаз» по отношению к миру. *Что* такое еврейская, *что* такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, оскверненное понятием «греха», благосостояние как опасность, как «искушение», физиологически плохое самочувствие, отравленное червем совести...

26

Понятие о Боге извращено; понятие о морали извращено: но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей *истории* Израиля: прочь ее... Эти жрецы устроили чудо из искажения, документальным доказательством которого является перед нами добрая часть Библии: прошлое собственного народа они *перенесли в религию* с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью, иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивши вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, если бы тысячелетнее *церковное* истолкование истории не притупило в нас требования к честности *in historicis*. А церкви вторили философы: *ложь* «нравственного миропорядка» проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означа-

ет «нравственный миропорядок»? То, что раз навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может, что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуется Божьей воле; что в судьбах народа и отдельной личности воля Божья оказывается *господствующей*, т.е. наказывающей и награждающей, пропорционально со степенью послушания. — *Действительность* вместо этой жалкой лжи гласит: тот человек — паразит, который преуспевает на счет всего здорового в жизни, т.е. *жрец*, злоупотребляет именем Бога: такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет «Царством Божьим», средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет «волей Божьей»; с хладнокровным цинизмом мерит он народы, времена, отдельные личности меркою полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле: в руках еврейских жрецов *великое* время истории Израиля сделалось временем упадка; изгнание, продолжительное несчастье, обратилось в вечное *наказание* за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма *свободных*, удачных образов истории Израиля они сделали, сообразуясь с потребностями, жалких проныр и ханжей или «безбожников»; психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой «послушания *или* непослушания Богу». Еще шаг далее: «Божья воля» (т.е. условие для поддержания власти жреца) должна быть *известна*, — для этой цели необходимо «откровение». По-немецки: является необходимость в великой литературной фальсификации — открывается «Священное Писание»; оно делается публичным со всей иерархической помпой, с покаянными днями,

с воплями горести о «грехах». «Воля Божья» уже давно известна: вся беда в том, что чуждаются «Священного Писания»... Уже Моисей открыл «волю Божью»... Что же произошло? Раз навсегда, со строгостью, с педантизмом, формулировал жрец, *что хочет он иметь*, «в чем Божья воля», вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему (не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов)... И с тех пор вся жизнь устраивается так, что *нигде нельзя обойтись* без жреца; во всех естественных событиях жизни — при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о «жертве» (трапезе), — является священный паразит, чтобы *лишить все это естественности*, «освятить» их, выражаясь его языком... Ибо нужно же понять это: всякий естественный обычай, всякое естественное учреждение (государство, судоустройство, брак, попечение о бедных и больных), всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, — короче, все, что имеет свою цену *в самом себе*, через паразитизм жреца (или «нравственный миропорядок») в основе своей лишается ценности, становится *противоценным*, и даже более того: в дополнение требуется санкция, — необходима *сообщающая ценность* сила, которая, отрицая природу, сама *создает* ценность... Жрец обесценивает природу, *лишает ее святости*: этой ценой он существует вообще. — Неповиновение Богу, т.е. жрецу, «закону», получает теперь имя «греха»; средствами для «примирения с Богом», само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу: только жрец «спасает». В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются «грехи»: они факторы власти, жрец *живет* грехами,

он нуждается в том, чтобы «грешили»... Высшее положение: «Бог прощает тому, кто раскаивается»; по-немецки: *кто подчиняется жрецу*. —

27

На такой-то *ложной* почве, где все естественное, всякая естественная ценность, всякая *реальность* возбуждала против себя глубочайшие инстинкты господствующего класса, выросло *христианство*, самая острая форма вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. «Святой народ», удержавший для всего только жреческие оценки, только жреческие слова, и с ужасающей последовательностью заклеивший все, что на земле представляло еще силу, словами «нечестивый», «мир», «грех», — этот народ выдвинул для своего инстинкта последнюю формулу, которая в своей логике доходила до самоотрицания: в лице *христианства* он отрицал последнюю форму реальности — он отрицал «святой народ», «избранный народ», самое *иудейскую* реальность. Случай первого ранга: маленькое мятежное движение, окрещенное именем Иисуса из Назарета, *еще раз* представляет собою иудейский инстинкт, иначе говоря, жреческий инстинкт, который не выносит уже более жреца как реальность, который изобретает еще *более отвлеченную* форму существования, еще *менее реальное* представление о мире, чем то, которое обуславливается учреждением церкви. Христианство *отрицает* церковь...

Я не понимаю, против чего иного могло направляться восстание, зачинщиком которого, по справедливости или *по недоразумению*, считается Иисус, если это не было восстанием против еврейской церкви,

принимая «церковь» в том смысле, какой дается этому слову теперь. Это было восстанием против «добрых и справедливых», против «святых Израиля», против общественной иерархии, — *не* против их испорченности, но против касты, привилегии, порядка, формулы, это было *неверие* в «высших людей», это было *отрицание* всего, что было жрецом и теологом. Но иерархия, которая всем этим хотя бы на одно мгновение подвергалась сомнению, была той сваей, на которой еще продолжал удерживаться посреди «воды» иудейский народ, с трудом достигнутая *последняя* возможность уцелеть, residuum его обособленного политического существования: нападение на нее было нападением на глубочайший инстинкт народа, на самую упорную народную волю к жизни, которая когда-либо существовала на земле. Этот святой анархист, вызвавший на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников», чандалы внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли бы довести до Сибири, — он был политическим преступником, поскольку таковой возможен в обществе, *до абсурда неполитическом*. Это привело его на крест: доказательством может служить надпись на кресте. Он умер за *свою* вину, — нет никакого основания утверждать, как бы часто это ни делали, что он умер за вину других. —

28

Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм или лишь другие в нем его *чувствовали*. Здесь я впервые касаюсь проблемы *психологии Спасителя*. — Я признаюсь, что мало книг читаю с такими

затруднениями, как Евангелия. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновала свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было 20 лет: теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий «предания»? Как можно вообще назвать «преданием» легенду о святых? Истории святых — это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует: применять научные методы там, *где отсутствуют какие-либо документы*, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым праздномыслием...

29

Что касается *меня*, то мне интересен психологический тип Спасителя. Он *мог бы* даже удержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли: так удержался тип Франциска Ассизского в легендах о нем, вопреки этим легендам. Истина *не* в том, что он сделал, что сказал, как он, собственно, умер; но важен вопрос, *можно ли* представить его тип, даются ли «преданием» черты для его представления. Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже *историю* «души»; это представляется мне доказательством психологического легкомыслия, достойного презрения. Господин Ренан, этот *gaer in psychologisis*, для объяснения типа Иисуса дал два *самых неуместных* понятия, какие только возможны: понятие *гений* и понятие

герой (héros). Но что только можно назвать неевангельским, так это именно понятие «герой». Как раз все, противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт: неспособность к противодействию делается здесь моралью («не противься злumu» — глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле); блаженство в мире, в кротости, в *неспособности* быть врагом. Что такое «благовестие»? — Найдена истинная жизнь, вечная жизнь — она не только обещается, но она тут, она *в вас*: как жизнь в любви, в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть дитя Божье — Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного, — как дитя Божье, каждый равен каждому... И из Иисуса делать героя! — А что за недоразумение со словом «гений»! Все наше понятие о «духе», целиком культурное понятие, — в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово, слово «идиот». Мы знаем состояние болезненной раздражительности *чувства осязания*, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический habitus в его последнем логическом выражении: как инстинкт ненависти против *всякой* реальности, как бегство в «непостижимое», в «необъяснимое», как отвлечение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь «внутреннем», «истинном», «вечном». «Царство Божье *внутри вас*»...

30

Инстинктивная ненависть против реальности: это есть следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого «прикосновения», потому что оно ощущается ею слишком глубоко.

Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всех границ и расстояний в чувстве: следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которая всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое *отвращение* (т.е. как *вредное*, как *отрицаемое* инстинктом самосохранения), блаженство же свое (удовольствие) видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия — ни злу, ни злему, — любовь как единственная, как *последняя* возможность жизни...

Это две *физиологические реальности*, на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма, на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя с большим придатком греческой жизненности и нервной силы, является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур — *типичный décadent*, впервые признанный таковым мною. — Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, *не может* иметь иного конца, как только в *религии любви*...

31

Я предвосхитил свой ответ на проблему. Предпосылкой для него является то, что тип Спасителя мы получили только в сильном искажении. Это искаже-

ние само по себе очень правдоподобно. Такой тип по многим основаниям не мог остаться чистым, цельным, свободным от примесей. На нем должна была оставить следы и среда, в которой вращался этот чуждый образ, еще более история, *судьба* первой христианской общины: она обогатила этот тип такими чертами, которые делаются понятными только в целях борьбы или пропаганды. Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелия, — мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и «ребячество» идиота, — этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более *грубым*: в особенности первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости, — для них тип существовал только после того, как он *отлился* в более знакомые формы... Пророк, Мессия, будущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель, — вот сколько было обстоятельств, чтобы извратить тип... Наконец, не будем низко оценивать *progrium* всякого великого почитания, в особенности сектантского почитания: оно сглаживает оригинальные, часто мучительно-чуждые, черты и идиосинкразии в почитаемом существе — *оно даже их не видит*. Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из *décadents* не жил какой-нибудь Достоевский, т.е. кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смещения возвышенного, больного и детского. Еще одна точка зрения: тип *мог бы*, как тип *décadence*, фактически совмещать в себе многое и противоречивое: такая возможность не исключается вполне. Однако все говорит против этого именно: предание должно было бы в этом случае быть вполне

верным и объективным — а все заставляет предполагать противоположное. Обнаруживается зияющее противоречие между проповедником на горах, море и лугах, появление которого так же приятно поражает, как появление Будды, хотя не на индийской почве, и тем фанатиком нападения, смертельным врагом теологов и жрецов, которого злость Ренана прославила как «le grand maître en ironie»*. Я сам не сомневаюсь в том, что обильная мера желчи (и даже esprit) перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды: достаточно известна беззастенчивость всех сектантов, которые стряпают себе *апологию* из своего учителя. Когда первой общине понадобился судящий, сварливый, гневающийся, злостный, хитрый теолог *против* теолога, она *создала* себе по своим потребностям своего «Бога»: без колебания она вложила в его уста те вполне не евангельские понятия, без которых она не могла обойтись, каковы: «будущее Пришествие», «Страшный суд», всякий род ожидания и обещания. —

32

Еще раз говорю, что я против того, чтобы в тип Спасителя вносить фанатизм: слово *impérieux*** , которое употребил Ренан, одно *уничтожает* тип. «Благовестие» и есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий: Царство Небесное принадлежит *детям*; вера, которая здесь заявляет о себе, не приобретается завоеванием; она тут, она означает возвращение к детству в области психического. Подобные случаи замедленной зрелости и не-

* великий мастер иронии (*фр.*).

** властный (*фр.*).

доразвитого организма, как следствия дегенерации, известны по крайней мере физиологам. — Такая вера не гневается, не порицает, не обороняет себя: она не приносит «меч», она не предчувствует, насколько она может сделаться началом разъединяющим. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни «даже писанием»: она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое «Царство Божье». Эта вера даже не формулирует себя — она *живет*, она отвергается от формул. Конечно, случайность среды, языка, образования определяет круг понятий: первое христианство владеет *только* иудейско-семитическими понятиями (сюда относится еда и питье при причастии, которыми так злоупотребляет церковь, как всем еврейским). Но пусть остерегаются видеть здесь что-нибудь более чем язык знаков, семиотику, повод для притчи. Ни одно слово этого анти-реалиста не должно приниматься буквально, — вот предварительное условие для того, чтобы он вообще мог говорить. Между индусами он пользовался бы понятиями Санкхьи, среди китайцев — понятиями Лао-цзы, и при этом не чувствовал бы никакой разницы. — Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса «свободным духом» — для него не существует ничего устойчивого: *слово убивает*; все, что устойчиво, *то убивает*. Понятие «жизни», *опыт* «жизни», какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем: «жизнь», или «истина», или «свет» — это его слово для выражения самого внутреннего; все остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. — Здесь нельзя ошибаться насчет того, как

велик соблазн, который лежит в христианском, точнее сказать, в *церковном* предрассудке: такой символист *par excellence* стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства, — его «знание» есть *чистое безумие*, не ведающее, что есть что-нибудь подобное. О *культуре* он не знает даже и понаслышке, ему нет нужды бороться против нее, он ее не отрицает... То же самое по отношению к *государству*, ко всему гражданскому порядку и обществу, к *труду*, к войне, — он никогда не имел основания отрицать «мир»; он никогда не предчувствовал церковного понятия «мир»... *Отрицание* для него есть нечто совершенно невозможное. — Подобным же образом нет и диалектики, нет представления о том, что веру, «истину» можно доказать доводами (*его* доказательства — это внутренний «свет», внутреннее чувство удовольствия и самоутверждения, только «доказательства от силы»). Такое учение также не *может* противоречить, оно не постигает, что существуют, что *могут* существовать другие учения, оно не умеет представить себе противоположное рассуждение... Где бы оно ни встретилось с ним, оно будет печалиться с самым глубоким сочувствием о «слепоте» — ибо оно само видит «свет» — но не сделает никакого возражения...

33

Во всей психологии Евангелия отсутствует понятие вины и наказания; равно как и понятие награды. «Грех», все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен, — *это и есть «благовестие»*. Блаженство не обещается, оно не связывается с каки-

ми-нибудь условиями: оно есть *единственная* реальность: остальное — символ, чтобы говорить о нем...

Следствие подобного состояния проецируется в новую *практику*, собственно в евангельскую практику. Не «вера» отличает христианина. Христианин действует, он отличается *иным* образом действий. Ни словом, ни в сердце своем он не противодействует тому, кто обнаруживает зло по отношению к нему. Он не делает различия между чужим и своим, между иудеем и не иудеем («ближний» в собственном смысле слова есть иудей, единоверец). Он ни на кого не гневается, никого не презирает. Он не появляется на суде и не позволяет привлекать себя к суду («не клянись вовсе»). Он ни при каких обстоятельствах не разведется с женой, даже в случае доказанной неверности ее. — Всё в основе — *один* принцип, всё — следствие *одного* инстинкта. —

Жизнь Спасителя была не чем иным, как *этой* практикой, не чем иным была также и его смерть. Он не нуждался более ни в каких формулах, ни в каком обряде для обхождения с Богом, ни даже в молитве. Он всецело отрешился от иудейского учения раскаяния и примирения; он знает, что это есть единственная жизненная *практика*, с которой можно себя чувствовать «божественным», «блаженным», «евангелическим», во всякое время быть как «дитя Божье». *Не* «раскаяние», не «молитва о прощении» суть пути к Богу: *одна евангельская практика* ведет к Богу, она и *есть* «Бог»! — То, с чем *покончило* Евангелие, это было иудейство в понятиях «грех», «прощение греха», «вера», «спасение через веру», — все иудейское учение *церкви* отрицалось «благовестием».

Глубокий инстинкт, как должно *жить*, чтобы чувствовать себя на «небесах», чтобы чувствовать себя

«вечным», между тем как при всяком ином поведении совсем *нельзя* чувствовать себя «на небесах», — это единственно и есть психологическая реальность «спасения». — Новое поведение, но не новая вера...

34

Если я что-нибудь понимаю в этом великом символизме, так это то, что только *внутренние* реальности он принимал как реальности, как «истины», — что остальное все, естественное, временное, пространственное, историческое, он понимал лишь как символ, лишь как повод для притчи. Понятие «Сын Человеческий» не есть конкретная личность, принадлежащая истории, что-нибудь единичное, единственное, но «вечная» действительность, психологический символ, освобожденный от понятия времени. То же самое, но в еще более высоком смысле можно сказать и о *Боге* этого типичного символиста, о «Царстве Божьем», о «Царстве Небесном», о «Сыновности Бога». Ничего нет более не христианского, как *церковные грубые понятия о Боге как личности, о грядущем «Царстве Божьем», о потустороннем «Царстве Небесном», о «Сыне Божьем», втором лице Св. Троицы.* Все это выглядит — мне простят выражение — неким кулаком в глаз: о, в какой глаз! — евангельский: *всемирно-исторический цинизм* в поругании символа... А между тем очевидно, как на ладони, что затрагивается символами «Отец» и «Сын», — допускаю, что не на каждой ладони: словом «Сын» выражается *вступление* в чувство общего просветления (блаженство); словом «Отец» — *само это чувство*, чувство вечности, чувство совершенства. — Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма: не поставила ли

она на пороге христианской «веры» историю Амфитриона? И еще сверх того догму о «непорочном зачатии»?.. *Но этим она опорочила зачатие...*

«Царство Небесное» есть состояние сердца, а не что-либо, что «выше земли» или приходит «после смерти». В Евангелии *недостает* вообще понятия естественной смерти: смерть не мост, не переход, ее нет, ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся, миру, имеющему лишь символическое значение. «Час смерти» *не* есть христианское понятие. «Час», время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя «благовестия»... «Царство Божье» не есть что-либо, что можно ожидать; оно не имеет «вчера» и не имеет «послезавтра», оно не приходит через «тысячу лет» — это есть опыт сердца; оно повсюду, оно нигде...

35

Этот «благовестник» умер, как и жил, как и учил, — *не* для «спасения людей», но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть *практика*, его поведение перед судьями, преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой — его поведение на *кресте*. Он не сопротивляется, не защищает своего права, он не делает ни шагу, чтобы отвратить от себя самую крайнюю опасность, более того — *он вызывает ее...* И он молит, он страдает, он любит *с* теми, *в* тех, которые делают ему зло. В словах, обращенных к *разбойнику* на кресте, содержится все Евангелие. «Воистину это был *Божий* человек, Сын Божий!» — сказал разбойник. «Раз ты чувствуешь это, — ответил Спаситель, — значит, *ты в Раю*, значит, ты сын Божий». *Не* защи-

щаться, *не* гневаться, *не* привлекать к ответственности... Но также не противиться злему, — *любить* его...

36

— Только мы, *ставшие свободными* умы, имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали девятнадцать веков, — мы имеем правдивость, обратившуюся в инстинкт и страсть и объявляющую войну «святой лжи» еще более, чем всякой иной лжи... Люди были несказанно далеки от нашего нейтралитета, полного любви и предусмотрительности, от той дисциплины духа, при помощи которой единственно стало возможным угадывание столь чуждых, столь тонких вещей: во все иные времена люди с бесстыдным эгоизмом желали только *своей* выгоды; воздвигли *церковь* в противоположность Евангелию...

Кто искал бы знамений того, что позади великой игры миров скрыт перст какого-то насмешливого божества, тот нашел бы не малое доказательство в том *чудовищном вопросительном знаке*, который зовется христианством. Что человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, *правом* Евангелия, что оно в понятии «церковь» признало за святое как раз то, что «благовестник» чувствовал стоящим *ниже* себя, *позади* себя, — напрасно искать большего проявления *всемирно-исторической иронии*. —

37

— Наш век гордится своим историческим чувством; как можно было поверить такой бессмыслице, что в начале христианства стоит *грубая басня о чудотворце и Спасителе*, — и что все духовное и символи-

ческое есть только позднейшее развитие? Наоборот: история христианства — и именно от смерти на кресте — есть история постепенно углубляющегося грубого непонимания *первоначального* символизма. С распространением христианства на более широкие и грубые массы, которым недоставало все более и более источников христианства, — становилось все необходимое делать христианство *вульгарным, варварским*, — оно поглотило в себя учения и обряды всех *подземных* культов *imperiū Romanū*, всевозможную бессмыслицу большого разума. Судьба христианства лежит в необходимости сделать самую веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненны, низменны и вульгарны потребности, которые оно должно было удовлетворять. *Больное варварство* суммируется наконец в силу в виде церкви, этой формы, смертельно враждебной всякой правдивости, всякой *высоте* души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности. — *Христианские ценности — аристократические ценности*. Только мы, *ставшие свободными* умы, снова восстановили эту величайшую из противоположностей, какая только когда-либо существовала между ценностями! —

38

— Здесь я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии, — это *презрение к человеку*. Чтобы не оставить никакого сомнения в том, *что* я презираю, *кого* я презираю, — это теперешнего человека, человека, которому я роковым образом являюсь современником. Теперешний человек — я задыхаюсь в его не-

чистом дыхании... По отношению к прошедшему я, как и все познающие, обладаю большой терпимостью, так сказать *великодушным* самопринуждением: с мрачной осмотрительностью прохожу я через мир, в течение целых тысячелетий представляющий собою сумасшедший дом, называется ли этот мир «христианством», «христианской верой» или «христианской церковью», — я остерегаюсь делать человечество ответственным за его душевные болезни. Но чувство мое возмущается, отвращается, как только я вступаю в новейшее время, в *наше* время. Наше время есть время *знания*... Что некогда было только болезненным, теперь сделалось неприличным — неприлично теперь быть христианином. *Вот тут-то и начинается мое отвращение.* — Я осматриваюсь вокруг: не осталось более ни одного слова из того, что некогда называлось «истина», нам просто неволею уже одно только выговаривание жрецом слова «истина». Даже при самом скромном притязании на честность, *должно* теперь признать, что теолог, жрец, папа, с каждым положением, которое он высказывает, не только заблуждается, но *лжет*; что он уже не волен лгать по «невинности», по «незнанию». Жрец знает так же хорошо, как и всякий, что нет никакого «Бога», никакого «грешника», никакого «Спасителя», — что «свободная воля», «нравственный миропорядок» есть *ложь*: серьезность, глубокое самопреодоление духа никому более не *позволяет не* знать этого... *Все* понятия церкви опознаны за то, что они есть, т.е. за самую злостную фабрикацию фальшивых монет, какая только возможна, с целью *обесценить* природу, естественные ценности; сам жрец признан таковым, каков он есть, т.е. опаснейшим родом паразита, настоящим ядовитым пауком жизни... Мы знаем, наша *совесть*

знает теперь, *какова* вообще цена тех зловещих изобретений жрецов и церкви, *для чего служили* эти изобретения, при помощи которых человечество достигло того состояния самораствления, вид которого внушает отвращение: понятия «по ту сторону», «Страшный суд», «бессмертные души», сама «душа» — это орудия пытки, это системы жестокостей, при помощи которых жрец сделался господином и остался таковым... Каждый это знает: *и, несмотря на это, все остается по-старому*. Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные люди, в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию? Юный государь во главе полков, являясь в своем великолепии выражением эгоизма и высокомерия своего народа, признает *без* всякого стыда себя христианином!.. Но тогда *кого же* отрицает христианство? *что* называет оно «миром»? Солдата, судью, патриота, все, что защищается, что держится за свою честь, что ищет своей выгоды, что имеет *гордость*... Всякая практика каждого момента, всякий инстинкт, всякая оценка, переходящая в *дело*, — все это теперь антихристианское: каким *выродком фальшивости* должен быть современный человек, если он, несмотря на это, *не стыдится* еще называться христианином!

39

— Я возвращаюсь, я рассказываю *истинную* историю христианства. — Уже слово «христианство» есть недоразумение, — в сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. «Евангелие» *умерло* на кресте. То, что с этого мгновения называется «Еван-

гелием», было уже противоположностью *его* жизни: «дурная весть», *Dysangelium*. До бессмыслицы лживо в «вере» видеть примету христианина, хотя бы то была вера в спасение через Христа; христианской может быть только христианская *практика*, т.е. такая жизнь, какую *жил* тот, кто умер на кресте... Еще теперь возможна *такая* жизнь, для *известных* людей даже необходима: истинное, первоначальное христианство возможно во все времена. *Не* верить, но делать, а прежде всего многого *не* делать, иное *бытие*... Состояния сознания, когда веришь или считаешь что-нибудь за истинное, — каждый психолог знает это, — такие состояния совершенно незначительны и пятистепенны по сравнению с ценностью инстинктов: строго говоря, все понятие духовной причинности ложно. Сводить христианское настроение лишь к признанию истины, к голому состоянию сознания — значит отрицать христианство. *На самом деле вовсе не было христианин*. «Христианин», то, что в течение двух тысячелетий называется христианином, есть психологическое самонедоразумение. Если смотреть прямее, то в нем господствовали, *вопреки* всякой вере, *только* инстинкты — и *что за инстинкты!* — «Вера» была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру, — благоразумная *слепота* относительно господства *известных* инстинктов. «Вера» — я уже называл ее собственно христианским *благоразумием*, — всегда *говорили о* «вере», *действовали же* по инстинкту... В мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы только касалось действительности: напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть *ко* всякой действительности. Что из этого сле-

дует? То, что здесь in psychologis заблуждение является радикальным, т.е. значимым по существу, т.е. самой субстанцией. Удалим *одно* понятие, поставим на место его одну-единственную реальность, и все христианство низвергается в ничто! — Если смотреть с высоты, то это самый странный из всех фактов: эта религия, не только обусловленная заблуждениями, но и до гениальности изобретательная во вредных, отравляющих жизнь и сердце заблуждениях, эта религия остается *зрелищем для богов*, для тех божеств, которые вместе с тем и философы и с которыми я, например, встречался в знаменитых диалогах на Накосе. В то мгновение, когда отступает от них *отвращение* (и от нас *также!*), они проникаются благодарностью за зрелище христианина: жалкая, маленькая звезда, называемая Землей, быть может, только ради *этого* курьезного случая заслуживает божественного взгляда, божественного участия... Не будем же низко ценить христианина; христианин, фальшивый *до невинности*, высоко поднимается над обезьяной: по отношению к христианину знаменитая теория происхождения — только учтивость...

40

— Судьба Евангелия была решена смертью, оно было распято на «кресте». Только смерть, эта неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предназначался лишь для *canaille*, — только этот ужаснейший парадокс поставил учеников перед настоящей загадкой: «*кто это был? что это было?*» Потрясенное и до глубины оскорбленное чувство, подозрение, что такая смерть может быть *опровержением* их дела, страшный вопросительный знак «почему

именно так?» — такое состояние слишком понятно. Здесь все *должно* было быть необходимо, все должно было иметь смысл, разум, высший разум; любовь ученика не признает случайности. Теперь только разверзлась пропасть: «кто его убил? кто был его естественным врагом?» — этот вопрос блеснул, как молния. Ответ: *господствующее* иудейство, его высшее сословие. С этого мгновенья почувствовали в себе возмущение *против* порядка, вслед за тем поняли и Иисуса, как *возмущение против* порядка. До сих пор в его образе *недоставало* этой черты — воинственной, отрицающей словом и делом; даже более, в нем было обратное этому. Очевидно, маленькая община именно *не* поняла главного, символического в таком способе смерти, свободу, превосходство *над* всяким чувством *ressentiment*: признак того, как мало вообще они его понимали! Сам Иисус ничего не мог пожелать в своей смерти, как только открыто дать сильнейший опыт, *доказательство* своего учения. Но его ученики были далеки от того, чтобы *простить* эту смерть, — что было бы в высшей степени по-евангельски, — или *отдать себя* такой же смерти с нежным и мягким спокойствием души... Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство, чувство *мести*. Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью: явилась нужда в «возмездии», в «суде» (и, однако, что может быть более неевангельским, чем «возмездие», «наказание», «суд»!). Еще раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии: исторический момент был уловлен: «Царство Божье» наступит, чтобы судить его врагов... Но этим все сделалось непонятным: «Царство Божье» как заключительный акт, как обещание! Евангелие было именно бытие, исполнение, *действительность* этого Цар-

ствия. Именно такая смерть *была* как раз «Царством Божьим». Теперь только включили в тип учителя все презрение и горечь к фарисеям и теологам и этим *сделали* из него фарисея и теолога. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из колен душ не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех как детей Божьих, которому учил Иисус; мезтью их было неумеренно *поднять* Иисуса, отделить его от себя: совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим врагам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. *Один* Бог и *один* Сын Божий: оба порождения *ressentiment*...

41

— И вот теперь всплыла абсурдная проблема: «как *мог* Бог допустить это!» На это поврежденный разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ: Бог отдал своего Сына для искупления грехов, как *жертву*. Так разом покончили с Евангелием! *Очистительная жертва*, и притом в самой отвратительной, в самой варварской форме, жертва *невинным* за грехи виновных! Какое страшное язычество! Иисус уничтожил даже самое понятие «вины», он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком, он *жизнью своей* представил это единство Бога и человека как *свое* «благовестие»... А *не* как преимущество! — С этого времени шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о Суде и Втором Пришествии, учение о смерти как жертвенной смерти, учение о *Воскресении*, с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие «блаженства», единственная его реальность, в пользу

состояния *после* смерти!.. Павел со всей наглостью раввина, которая так ему присуща, дал этому пониманию, этому распутству мысли, такое логическое выражение: «если Христос не воскрес, то вера наша тщетна»*. — И разом из Евангелия вышло самое презренное из всех неисполнимых обещаний, — *бесстыдное* учение о личном бессмертии... Павел учил о нем даже как о *награде!*..

42

Теперь уже видно, *чему* положила конец смерть на кресте: новому, самобытному стремлению к буддистскому спокойствию, к действительному, а *не* только обещанному *счастью на земле*. Ибо — как я уже указывал — основным различием между обеими религиями-décadence остается то, что буддизм не обещает, но исполняет, христианство же обещает всё, но *не исполняет ничего*. — За «благой вестью» последовала по пятам весть *самая скверная*: весть Павла. В Павле воплотился тип, противоположный «благовестнику», гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти. *Чего* только не принес этот dysangelist в жертву своей ненависти! Прежде всего Спасителя: он распял его на *своем* кресте. Жизнь, пример, учение, смерть, смысл и право всего Евангелия — ничего более не осталось, когда этот фальшивомонетчик путем ненависти постиг, в чем единственно он нуждается. *Не* в реальности, *не* в исторической истине!.. И еще раз жреческий инстинкт иудея учинил то же великое преступление над историей, — он просто вычеркнул вчера, позавчера христианства, он *изобрел историю первого христианства*. Даже более:

* 1 Коринф. 15, 14.

он еще раз извратил историю Израиля, чтобы представить ее как предварительную историю для *своего* дела; все пророки говорили о *его* «Спасителе»... Церковь извратила позже даже историю человечества, обратив ее в предысторию христианства... Тип Спасителя, учение, практика, смерть, смысл смерти, даже то, что было после смерти, — ничто не осталось неприкосновенным, ничто не осталось даже напоминающим действительность. Павел просто переложил центр тяжести всего того бытия *за* это бытие — в *ложь* о «воскресшем» Иисусе. В сущности, ему не нужна была жизнь Спасителя — ему нужна была смерть на кресте и кое-что еще... Поистине, было бы явной *niaiserie* со стороны психолога доверять Павлу, родиной которого была столица стоического просвещения, когда он выдавал за *доказательство* посмертной жизни Спасителя галлюцинацию, или доверять хотя бы даже его рассказу, что он имел эту галлюцинацию: Павел хотел цели, *следовательно*, он хотел и средства... Во что не верил он сам, в то верили те идиоты, среди которых он сеял *свое* учение. — *Его* потребностью была *власть*; при помощи Павла еще раз жрец захотел добиться власти, — ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада. *Что* единственно заимствовал позже Магомет у христианства? Изобретение Павла, его средство к жреческой тирании, к образованию стада: веру в бессмертие, т.е. *учение о «Суде»*...

43

Когда жизненный центр тяжести переносят из жизни в «потустороннее» — в *ничто*, то тем самым вообще лишают жизнь центра тяжести. Великая ложь

о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах; все, что есть в инстинктах благодетельного, что способствует жизни, ручается за будущее, — возбуждает теперь недоверие. Жить *так*, чтобы не было более *смысла* жить, — это становится теперь «смыслом» жизни... К чему дух общестственности, к чему еще благодарность за происхождение и предков, к чему работать вместе, к чему доверять, к чему способствовать общему благу и иметь его в виду?.. Все это «соблазны», все это отклонения от «истинного пути» — «единое есть на потребу»... Чтобы каждый, как «бессмертная душа», был равен каждому, чтобы в совокупности всего живущего «спасение» *каждой* отдельной единицы смело претендовать на вечность, чтобы маленькие святоши и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно *нарушаются* законы природы, такое беззастенчивое возведение всякого рода эгоизма в бесконечное, в *бесстыдное*, надо клеймить презрением в полной мере. И однако же христианство обязано своей *победой* именно *этому* жалкому тщеславию отдельной личности, — как раз этим самым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья и отбросы человечества. «Спасение души» по-немецки: «мир вращается *вокруг меня*»... Яд учения «*равные* права для всех» христианство посеяло самым основательным образом. Из самых тайных уголков дурных инстинктов христианство создало смертельную вражду ко всякому чувству благоговения и почтительного расстояния между человеком и человеком, которое является *предусловием* для всякого повышения и роста культуры, — из ressentiment масс оно выковало *главное орудие* против нас, против всего благородного, ра-

достного, великодушного на земле, против нашего счастья на земле... «Бессмертие», признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и злостнейшим посягательством на *аристократию* человечества. — *И* не будем низко ценить то роковое влияние, которое от христианства пробралось в политику! Никто теперь не имеет более мужества заявлять об особых правах, о правах господства, о чувстве почтения к себе, к другому, нет более *пафоса дистанции*... Наша политика *болеет* этим недостатком мужества! — Аристократизм настроения ложью о равенстве душ погребен окончательно; и если вера в «право большинства» делает революции и *будет их делать*, то нельзя сомневаться в том, что это — христианство, *христианские* суждения ценности, которые каждая революция только переводит в кровь и преступление! Христианство есть восстание всего по-земле-пресмыкающегося против того, что над ней *возвышается*: Евангелие «низших» *унижает*...

44

— Евангелия неоценимы как свидетельства уже неудержимой коррупции *внутри* первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом раввина довел до конца, было лишь процессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. — При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь, — и меня поддержат — что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, — как *противоположность* всякой наивной испорченности, как утонченность *par excellence**, — как виртуоз-

* последнее основание (*лат.*).

ность в психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в «святое», достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте — ни в книгах, ни среди людей, — жутьничество в словах и жестах, как *искусство*, — это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность *расы*. В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство, вся наистрожайшая многовековая иудейская выучка и техника доходят до крайних пределов мастерства. Христианин, этот *ultima ratio* лжи, есть иудей во второй, даже *третьей степени*... Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой *другой* практики, от перспектив всякого *иного* рода оценок и полезностей — это не только традиция, это *наследственность*: лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен (исключая одного, который, может быть, единственный — не человек) позволяли себя обманывать. Евангелие читали как *книгу невинности*... ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. — Конечно, если бы мы *видели* их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников-святых, то с ними было бы покончено — и именно потому, что *я* не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов, *я и покончил с ними*... Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть снизу вверх. — К счастью, книги для большинства есть толь-

ко литература. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение: «не судите!» — говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Препоручая суд Богу, они судят сами; прославляя Бога, они прославляют самих себя; *требуя* тех добродетелей, которые как раз им свойственны, — даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну, — они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетели. «Мы живем, мы умираем, мы жертвуем собою *за благо*» («Истина», «Свет», «Царство Божье»): в действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежась, как крот, живя в тени, как призрак, — они создают себе из этого *обязанность*: по обязанности жизнь их является смирением, как смирение она есть лишнее доказательство благочестия... Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердый род лжи! — «За нас должна свидетельствовать сама добродетель»... Читайте Евангелия как книги соблазна при посредстве *морали*: эти маленькие люди конфискуют мораль, — они знают, как нужно обращаться с моралью! Люди всего лучше *водятся* за *нос моралью*! — реальность заключается в том, что здесь самое сознательное *самоумнение избранных* разыгрывает скромность: *себя*, «общину», «добрых и справедливых» раз навсегда поставили на одну сторону, на сторону «истины», а все остальное, «мир», — на другую... *Это* был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле: маленькие выродки святош и лжецов стали употреблять понятия «Бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим отграничить от себя «мир»; маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего

дома, перевернули все ценности сообразно *самим себе*, как будто «христианин» был смыслом, солью, мерой, а также *последним судом* всего остального... Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия — *иудейский*: коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином, последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру самоподдержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить *против* самих иудеев, в то время как иудеи обращали ее до сих пор только против всего *не* иудейского. Христианин есть тот же еврей, только «*более свободного*» исповедания. —

45

— Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что *вложили они в уста* своему учителю: это настоящее признание «прекрасных душ». —

«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу» (Марк 6,11). — Как это *по-евангельски!*..

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Марк 9,42). — Как это *по-евангельски!*..

«И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9,47). — Не глаз только здесь подразумевается...

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Марк 9,1). — Хорошо *солгал*, лев.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. *Ибо...*» (*Примечание психолога*. Христианская мораль опровергается этим «ибо»: опровергать ее «основы» — это по-христиански) (Марк 8,34).

«Не судите, да не судимы будете. Какою мерою мерите, такую и *вам* будут мерить» (Матф. 7,1). — Какое понятие о справедливости, о «праведном судии!..»

«Ибо, если вы будете любить любящих вас, *какая вам награда?* Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, *что особенного делаете?* Не так же ли поступают и мытари?» (Матф. 5,46). — Принцип «христианской любви»: она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной...

«А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6,15). — Очень компрометирует вышеназванного «Отца»...

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6,33). — Все это: т.е. пища, одежда, все насущные потребности жизни. *Заблуждение*, скромно выражаясь... Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере в известных случаях...

«Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, *ибо* велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» (Лука 6,23). — *Бесстыдное* отродье! Они сравнивают себя уже с пророками!..

«Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, *того по-*

карает Бог, ибо храм Божий свят: а *этот храм — вы*» (Павел I к Коринф. 3,16). — Для подобного нет достаточной меры презрения...

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же *вами* будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» (Павел I к Коринф. 6,2). К сожалению, не только речь сумасшедшего... Этот *ужасный лжец* продолжает: «разве не знаете, *что мы* будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские!..»

«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих... не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но *Бог избрал немудрое мира*, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (Павел I к Коринф. 1,20 и далее). — Чтобы *понять* это место — перворазрядное свидетельское для психологии всякой морали чандалы, нужно прочесть первое рассмотрение моей «Генеалогии морали»: там впервые выведена на свет противоположность *аристократической* морали и морали чандалы, родившейся из ressentiment и бессильной мести. Павел был величайшим из всех апостолов мести...

46

— *Что из этого следует?* То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти выну-

ждает к этому. Мы так же мало желали бы общения с «первыми христианами», как и с польскими евреями, — не потому, чтобы мы имели что-нибудь против них: те и другие нехорошо пахнут. — Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту: там нет ничего, что можно бы было назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага, — недостает инстинктов *чистоплотности*... В Новом Завете только *дурные* инстинкты, и даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман. Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслед за Новым Заветом; так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного, задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доменико Боккаччо написал герцогу Парма о Чезаре Борджа: «*è tutto festo*» — бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый... Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают, но все то, на что они нападают, тем самым *получает отличие*. На кого нападает «первый христианин», тот *не* бывает этим замаран... Напротив: есть некоторая честь иметь против себя «первых христиан». Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о «мудрости мира сего», которую дерзкий враль напрасно пытается посрамить «юродливой проповедью»... Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников: должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят. Лицемерие, вот упрек, который смели бросить «первые христиане»! Достаточно того, что это были *привилегированные*, — ненависть чандалы не нуждается в других

основаниях. «Первый христианин» — я боюсь, что и «последний», *которого, может быть, я еще переживу*, — по самым низменным инстинктам есть бунтовщик против всего привилегированного, — он живет, он борется всегда за *«равные права»*... Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице «избранниками Бога», или «храмом Божиим», или «судьей ангелов», то всякий *другой* принцип выбора, например принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца, попросту *«мира»*, — есть уже *зло само по себе*... Мораль: каждое слово в устах «первого христианина» есть ложь, каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь, — все его ценности, все его цели вредны, но *кого* он ненавидит, *что* он ненавидит, *то имеет ценность*... Христианин, христианский священник в особенности, есть *критерий ценностей*... Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только *единственная* фигура, достойная уважения? Пилат, римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять *всерьез* спор иудеев. Одним евреем больше или меньше — что за важность?.. Благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, *которое имеет цену*, которое само по себе есть его критика, его *отрицание*: «что есть истина!..»

47

— Не то отличает *нас* от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы почитаемое за Бога чувствуем не как «божественное», но как жалкое, абсурдное, вредное —

не как заблуждение только, но как *преступление перед жизнью*... Мы отрицаем Бога как Бога... Если бы нам *доказали* этого Бога христиан, мы еще менее сумели бы поверить в него. — По формуле: *deus, qualem Paulus creavit, dei negatio**. Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, — по справедливости должна быть смертельно враждебна «мудрости мира», другими словами, *науке*, — для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать, *обесславить* дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. «Вера», как императив, есть *veto* против науки, *in p̄axi* ложь во что бы то ни стало... Павел *понял*, что ложь, что «вера» была необходима: церковь позже поняла Павла. — Тот «Бог», которого изобрел Павел, Бог, который позорит «мудрость мира» (т.е., собственно, двух великих врагов всякого суеверия, филологию и медицину), — это поистине только смелое *решение* самого Павла назвать «Богом» свою собственную волю, *thoga*, — это сугубо иудейское. Павел *хочет* позорить «мудрость мира»; его враги — это *хорошие* филологи и врачи александрийской выучки, — им объявляет он войну. Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и *антихристианином*. Филолог смотрит *позади* «священных книг», врач *позади* физиологической негодности типичного христианина. Врач говорит: «неизлечимый», филолог: «шарлатан»...

* бог, каким его сотворил Павел, есть отрицание бога (лат.).

— Поняли ли, собственно, знаменитую историю, которая помещена в начале Библии, — историю об адском страхе Бога перед *наукой*?.. Ее не поняли. Эта жреческая книга par excellence начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца: *он* имеет только *одну* великую опасность, *следовательно*, Бог имеет только *одну* великую опасность. —

Ветхий Бог, «дух» всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду: беда только, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека: человек занимателен... Но что это? и человек также скучает. Безгранично милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай: Бог тотчас же создал еще и других животных. *Первый* промах Бога: человек не нашел животных занимательными, — он возгосподствовал над ними, он не пожелал быть «животным». — Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, — но с другим еще нет! Женщина была *вторым* промахом Бога. — «Женщина по своему существу змея, Нева», — это знает всякий жрец; «от женщины происходит в мире всякое несчастье», — это также знает всякий жрец. «*Следовательно*, от нее идет и наука»... Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. — Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался *величайшим* промахом Бога, он создал в нем себе соперника: наука делает *равным Богу*, — приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку! — *Мораль*:

наука есть нечто запрещенное само по себе, она одна запрещена. Наука — это *первый* грех, зерно всех грехов, *первородный* грех. *Только это одно и есть мораль.* — «Ты *не* должен познавать»; остальное все вытекает из этого. — Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как *защищаться* от науки? — это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ: прочь человека из рая! Счастье, праздность наводят на мысли — все мысли суть скверные мысли... Человек *не должен* думать. — И «жрец в себе» изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего *болезнь* — все верные средства в борьбе с наукой! Нужда *не позволяет* человеку думать... И все-таки! ужасно! Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов, — что делать? — Ветхий Бог изобретает *войну*, он разъединяет народы, он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга (жрецам всегда была необходима война...). Война наряду с другим — великая помеха науке! — Невероятно! Познание, *эмансипация от жреца* даже возрастает, несмотря на войну. — И вот последнее решение приходит ветхому Богу: «человек познал науку, — *ничто не помогает, нужно его утопить!*»...

49

— Я понят. Начало Библии содержит *всю* психологию жреца. — Жрец знает только *одну* великую опасность — науку: здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах: нужно иметь *избыток* времени и духа, чтобы «познавать»... *Следовательно,*

нужно человека сделать несчастным: это всегда было логикой жреца. — Можно уже угадать, *что*, согласно этой логике, теперь явилось на свет: «грех»... Понятие о вине и наказании, весь «нравственный миропорядок» изобретен *против* науки, *против* освобождения человека от жреца... Человек *не* должен смотреть вне себя, он должен смотреть внутрь себя: он *не* должен смотреть на вещи умно и предусмотрительно, как изучающий; он вообще не должен смотреть: он должен *страдать*... И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. — Прочь, врачи! *Нужен Спаситель*. — Чтобы разрушить в человеке *чувство причинности*, изобретаются понятия о вине и наказании, включая учение о «милости», об «искуплении», о «прощении» (насквозь *лживые* понятия без всякой психологической реальности): все это покушение на понятия причины и действия! — И покушение *не* при помощи кулака или ножа или откровенности в любви и ненависти! Но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов! Покушение *жреца*! Покушение *паразита*! Вампиризм бледных подземных кровопийц!.. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся как обусловленные призрачными понятиями суеверия («Бог», «дух», «душа»), как «моральные» следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, — этим уничтожаются необходимые условия познания — *над человечеством совершается величайшее преступление*. — Грех — эта форма саморастления человека *par excellence*, — как уже было сказано, изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагорожение человека; жрец *господствует* благодаря изобретению греха. —

— Я не обойду здесь молчанием психологию «веры», «верующих», именно для пользы самих «верующих». Если теперь еще нет недостатка в таких, которые не знают, насколько *неприлично* быть «верующим», или что это служит признаком *décadence*, искалеченной воли к жизни, то завтра они уже будут знать это. Мой голос достигает и тугих на ухо. — Кажется, если только я не ослышался, у христиан существует критерий истины, который называется «доказательство от силы». «Вера делает блаженным: следовательно, она истинна». — Можно бы было возразить, что блаженство здесь не доказывается, а только *обещается*, блаженство обуславливается «верой»: *должен* сделаться блаженным, *потому что* веришь... Но чем доказывается, что действительно наступает то, что жрец обещает верующему как «потустороннее», недоступное для всякого контроля? — Таким образом, мнимое «доказательство от силы» в основе есть опять-таки только вера в то, что явится действие, обещанное верой. По формуле: «я верю, что вера делает блаженным, — следовательно, она истинна». — Но мы подошли к концу. *Это* «следовательно» было бы *absurdum* как критерий истины. — Однако если мы предположим, с некоторой снисходительностью, что доставление блаженства доказывается верой (*не* только как желаемое, *не* только как нечто обещаемое подозрительными устами жреца), — то все же было ли блаженство — выражаясь технически, *удовольствие* — когда-нибудь доказательством истины? Так мало, что оно почти дает доказательство противоположного; во всяком случае, если чувство удовольствия вмешивается в об-

суждение вопроса «что́ есть истина?», то возникает огромное подозрение относительно истины. «Удовольствие» как доказательство есть только доказательство «удовольствия» — не более. Откуда имеем мы право утверждать, что именно *истинные* суждения доставляют более удовольствия, чем ложные, и что, в силу предустановленной гармонии, они необходимо влекут за собой приятные чувства? — Опыт всех строгих и глубоких умов учит нас *обратному*. Каждый шаг в сторону истины надо было отвоевывать, нужно было за него пожертвовать всем, чем питается наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого нужно величие души. Служение истине есть самое суровое служение. — Что значит быть *честным* в духовных вещах? Быть строгим к своему сердцу, презирать «прекрасные чувства», из всякого Да и Нет делать вопросы совести!.. Вера делает блаженным: *следовательно*, она лжет...

51

Что вера при известных обстоятельствах делает блаженным, что блаженство из навязчивой идеи еще не делает *истинной* идеи, что вера не двигает горами, но скорее *нагромождает* горы, где их совсем нет, — это в достаточной мере можно выяснить, пройдясь по *сумасшедшему дому*. Конечно, *не* жрецу, ибо жрец из инстинкта отрицает, что болезнь есть болезнь, что сумасшедший дом есть сумасшедший дом. Христианство *нуждается* в болезни почти в такой же мере, как Греция нуждалась в избытке здоровья: *делать* больным — это, собственно, задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения. И не является ли сама церковь — в последнем идеале

католическим сумасшедшим домом? — И сама земля вообще не сумасшедший ли дом? — Религиозный человек, каким его *хочет* церковь, — есть типичный *décadent*; время, когда религиозный кризис господствует над народом, всегда отмечается нервными эпидемиями; «внутренний мир» религиозного человека так похож на внутренний мир перевозбужденных и истощенных, что их можно смешать друг с другом. «Высшие состояния», которые христианство навязало человечеству как ценность всех ценностей, — это эпилептоидные формы. Церковь причисляла к лику святых только сумасшедших *или* великих обманщиков *in majorem dei honorem*... Я позволил себе однажды охарактеризовать весь христианский *training* раскаяния и спасения (который теперь лучше всего можно изучить в Англии) как методически воспитываемую *folie circulaire**, само собой разумеется, на почве к тому уже подготовленной, т.е. глубоко болезненной. Не всякий может сделаться христианином: в христианство не «обращаются», — для этого должно сделаться больным... Мы, другие, имеющие *мужество* к здоровью *и* также к презрению, как можем *мы* не презирать религию, которая учила пренебрегать телом! которая не хочет освободиться от предрассудка о душе! которая из недостаточного питания делает «заслугу»! которая борется со здоровым, как с врагом, дьяволом, искушением! которая убедила себя, что можно влачить «совершенную душу» в теле, подобном трупцу, и при этом имела надобность создать себе новое понятие о «совершенстве», нечто бледное, болезненное, идиотски-мечтательное, так называемую святость; святость — просто ряд симптомов обедневшего,

* в высшую честь божию (*лат.*)... маниакально-депрессивный психоз (*фр.*).

энервирующего, неизлечимого испорченного тела!.. Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть. Христианское движение *не* выражает упадка расы, но оно есть агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм *décadence*. *Не* развращенность древности, *благородной* древности, сделала возможным христианство, как это думают. Ученый идиотизм, который и теперь еще утверждает нечто подобное, заслуживает самого резкого опровержения. В то время, как христианизировались во всей империи больные, испорченные слои чандалы, существовал как раз *противоположный* тип, благородство в самом его красивом и зрелом образе. Но численность получила господство; демократизм христианских инстинктов *победил*. Христианство не было национальным, не обуславливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью, оно имело своих союзников повсюду. Христианство, опираясь на ганципе больных, обратило инстинкт *против* здоровых, *против* здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла: «Бог избрал *немошное* мира, *немудрое* мира, *незнатное* мира, *уничижненное* мира»: *это* была та формула, *in hoc signo* которой победил *décadence*. — Бог на кресте — неужели еще до сих пор не понята ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, что на кресте, — *божественно*... Мы все на кресте, следовательно, *мы* божественны... Мы одни божественны... Христианство было победой, *более благородное* погубило в нем, до сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества. —

Христианство стоит в противоречии также со всякой *духовной* удачливостью, оно нуждается только в больном разуме, как христианском разуме, оно берет сторону всякого идиотизма, оно изрекает проклятие против «духа», против *superbia** здорового духа. Так как болезнь относится к сущности христианства, то и типически христианское состояние, «вера», — *должно* быть также формой болезни, все прямые честные, научные пути к познанию *должны* быть также отвергаемы церковью как пути *запрещенные*. Сомнение есть уже грех... Совершенное отсутствие психологической чистоплотности, обнаруживающееся во взгляде священника, есть проявление *décadence*. Можно наблюдать на истерических женщинах и рахитичных детях, сколь закономерным выражением *décadence* является инстинктивная лживость, удовольствие лгать, чтобы лгать, неспособность к прямым взглядам и поступкам. «Верой» называется *нежелание* знать истину. Ханжа, священник обоих полов, фальшив, *потому что* он болен: его инстинкт *требует* того, чтобы истина нигде и ни в чем не предьявляла своих прав. «Что делает больным, есть *благо*, что исходит из полноты, из избытка, из власти, то зло» — так чувствует верующий. *Непроизвольность* во лжи — по этому признаку я угадываю каждого теолога по призванию. — Другой признак теолога — это его *неспособность к филологии*. Под филологией здесь нужно подразумевать искусство хорошо читать, конечно, в очень широком смысле слова, искусство вычитывать факты, *не* искажая их толкованиями, *не* теряя

* гордыня (*лат.*).

осторожности, терпения, тонкости в стремлении к пониманию. Филология как *Ephexis** в толковании: идет ли дело о книгах, о газетных новостях, о судьбах и состоянии погоды, — не говоря о «спасении души»... Теолог, все равно в Берлине или Риме, толкует ли он «Писание» или переживание, как, например, победу отечественного войска в высшем освещении псалмов Давида, всегда настолько *смел*, что филолог при этом готов лезть на стену. Да и что ему делать, когда ханжи и иные коровы из Швабии свою жалкую серую жизнь, свое затхлое существование с помощью «перста Божия» обращают в «чудо милости», «промысел», «спасение»! Самая скромная доза ума, чтобы не сказать *приличия*, должна была бы привести этих толкователей к тому, чтобы они убедились, сколько вполне ребяческого и недостойного в подобном злоупотреблении божественным перстом. Со столь же малой дозой истинного благочестия мы должны бы были признать вполне абсурдным такого Бога, который лечит нас от насморка или подает нам карету в тот момент, когда разражается сильный дождь, и, если бы он даже существовал, его следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь, — в сущности, это только слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей. «Божественное Провидение», в которое теперь еще верит приблизительно каждый третий человек в «образованной» Германии, было бы таким возражением против Бога, сильнее которого нельзя и придумать. И во всяком случае, оно есть возражение против немцев!..

* способность, готовность (*гр.*).

— Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо, — в этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает миру то, что считает он истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая *тупость* в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается *скромность*, осторожность относительно этих вещей. *Знать* немногое, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше... «Истина», как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист, каждый церковник, — есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала той дисциплины духа и самопреодоления, которое необходимо для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории: они *соблазняли*... Умозаключение всех идиотов, включая сюда женщин и простонародье, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть (или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством), имеет за себя что-нибудь, — такое умозаключение было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмотрительности. Мученики *вредили* истине. Даже и в настоящее время достаточно только жесто-

кости в преследовании, чтобы создать *почтенное* имя самому никчемному сектантству. — Как? разве изменится вещь в своей ценности только оттого, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? — Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна, — не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи? — Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик; так же опровергают и теологов. Всемирно-исторической глупостью всех преследователей и было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества... До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. *Разве же крест аргумент?* Но относительно всего этого только один сказал то слово, в котором нуждались в продолжение тысячелетий, — *Заратустра*.

Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.

Но кровь — самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на огонь из-за своего учения — что же это доказывает! Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение.

54

Пусть не заблуждаются: великие умы — скептики. Заратустра — скептик. Крепость, *свобода*, вытекающие из духовной силы и ее избытка, *доказываются*

скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение — это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь *под* собой: а между тем, чтобы осмелиться говорить о ценностях и неценностях, нужно оставить *под* собой, *за* собой пятьсот убеждений... Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений — это сила, это *способность* смотреть свободно... Великая страсть, основание и сила бытия духа еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуется всецело его интеллектом: она заставляет его поступать, не сомневаясь; она дает ему мужество даже к недозволенным средствам; она *разрешает* ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждение как *средство*: многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им — она считает себя суверенной. — Наоборот: потребность в вере, в каком-нибудь безусловном Да или Нет, в карлейлизме, если позволительно так выразиться, — есть потребность *слабости*. Человек веры, «верующий» всякого рода, — по необходимости человек зависимый, — такой, который не может полагать *себя* как цель и вообще полагать цели, опираясь на себя. «Верующий» принадлежит не *себе*, он может быть только средством, он должен быть *использован*, он нуждается в ком-нибудь, кто бы его использовал. Его инстинкт чтит выше всего мораль самоотвержения; все склоняет его к ней: его благоразумие, его опыт, его тщеславие. Всякого рода вера есть сама выражение самоотвержения, самоотчуждения... Пусть взвесят, как не-

обходимо большинству что-нибудь регулирующее, что связывало бы их и укрепляло внешним образом, как принуждение, как *рабство* в высшем значении этого слова, — единственное и последнее условие, при котором преуспевает слабовольный человек, особенно женщина, — тогда поймут, что такое убеждение, «вера». Человек убеждения имеет в этом убеждении свою опору. *Не* видеть многого, ни в чем не быть непосредственным, быть насквозь пропитанным духом партии, иметь строгую и неуклонную оптику относительно всех ценностей — все это обуславливает вообще существование такого рода людей. Но тем самым этот род становится *антагонистом* правдивости, — истины... Верующий не волен относиться по совести к вопросу об «истинном» и «неистинном»: сделайся он честным в *этом* пункте, это тотчас повело бы его к гибели. Патологическая обусловленность его оптики из убежденного человека делает фанатика — Савонаролу, Лютера, Руссо, Робеспьера, Сен-Симона, — тип, противоположный сильному, ставшему *свободным* духу. Но величавая поза этих *больных* умов, этих умственных эпилептиков, действует на массу, — фанатики живописны; человечество предпочитает смотреть на жесты, чем слушать *доводы*...

55

— Еще один шаг в психологию убеждения, «веры». Давно уже меня интересовал вопрос, не являются ли убеждения более опасными врагами истины, чем ложь. («Человеческое, слишком человеческое», афоризмы 54 и 483.) На этот раз я ставлю решающий вопрос: существует ли вообще противоположение между ложью и убеждением? — Весь мир верит в это; но

чему только не верит весь мир! — Всякое убеждение имеет свою историю, свои предварительные формы, свои попытки и заблуждения: оно *становится* убеждением после того, как долгое время *не* было им и еще более долгое время *едва* им было. Как? неужели и под этими эмбриональными формами убеждения не могла скрываться ложь? — Иногда необходима только перемена личностей: в сыне делается убеждением то, что в отце было еще ложью. — Ложью я называю: не желать видеть того, что видят, не желать видеть *так*, как видят, — не важно, при свидетелях или без свидетелей ложь имеет место. Самый обыкновенный род лжи тот, когда обманывают самих себя: обман других есть относительно уже исключительный случай. — В настоящее время это нежелание видеть то, что видят, и нежелание видеть *так*, как видят, есть почти первое условие для всех *партийных* в каком бы то ни было смысле: человек партии по необходимости лжец. Немецкая историография, например, убеждена, что Рим был деспотизмом, что германцы принесли в мир дух свободы: какое различие между этим убеждением и ложью? Следует ли удивляться тому, что инстинктивно все партии, равно как и немецкие историки, изрекают великие слова морали, что мораль чуть ли не потому еще *продолжает существовать*, что всякого рода человек партии нуждается в ней ежеминутно? — «Это *наше* убеждение: мы исповедуем его перед всем миром, мы живем и умираем за него — почтение перед всем, что имеет убеждение». — Нечто подобное слышал я даже из уст антисемитов. Напротив, господа! Антисемит совсем не будет оттого приличнее, что он лжет по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражение, лежащее в понятии убеждения, т.е. обоснованной,

ввиду известных целей, лжи, позаимствовали от евреев благоразумие, подставивши сюда понятие «Бог», «воля Божья», «откровение Божье». Кант со своим категорическим императивом был на том же пути: в этом пункте его разум сделался *практическим*. — Есть вопросы, в которых человеку *не* предоставлено решение относительно истинности их или неистинности: все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума... Коснуться границ разума — *вот это* прежде всего и есть философия... Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек не *может* знать сам собою, что есть добро и что зло, поэтому научил его Бог своей воле... Мораль: священник *не* лжет, — в тех вещах, о которых говорят священники, *нет* вопросов об «истинном и ложном», эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо, чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, *что* здесь истинно. Но этого как раз человек не *может*; священник здесь только рупор Бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским: право на ложь и на *благоразумие* «откровения» принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы *décadence* или жрецы язычества. (Язычники — это все те из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого Да по отношению ко всем вещам.) — «Закон», «воля Божья», «священная книга», «боговдохновение» — все это только слова для обозначения условий, *при которых* жрец идет к власти, *которыми* он поддерживает свою власть, — эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства. «Святая ложь» обща Конфуцию, книге законов Ману, Магомету, христи-

анской церкви; в ней нет недостатка и у Платона. «Истина здесь» — эти слова, где бы они ни слышались, означают: *жрец лжет...*

56

— В конце концов, мы подходим к тому, с какой целью лгут. Что христианству недостает «святых» целей, это *мое* возражение против его средств. У него только *дурные* цели: отравление, оклеветание, отрицание жизни, презрение тела, уничтожение и самораспятие человека через понятие греха, — *следовательно*, также дурны и его средства. — Совершенно с противоположным чувством я читаю книгу законов *Ману*, произведение, несравненное в духовном отношении; даже *назвать* его на одном дыхании с Библией было бы грехом против *духа*. И понятно почему: оно имеет за собой, «в» себе действительную философию, а не только зловонный иудаизм с его раввинизмом и суевериями, наоборот, оно кое-что дает даже самому избалованному психологу. *Нельзя* забывать главного — основного отличия этой книги от всякого рода Библии: *знатные* сословия, философы и воины при ее помощи держат в руках массы: повсюду благородные ценности, чувство совершенства, утверждение жизни, торжествующее чувство благосостояния по отношению к себе и к жизни, *солнечный свет* разлит на всей книге. — Все вещи, на которые христианство испускает свою бездонную пошлость, как, например, зачатие, женщина, брак, здесь трактуются серьезно, с почтением, любовью и доверием. Как можно давать в руки детей или женщин книгу, которая содержит такие гнусные слова: «во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... лучше всту-

пить в брак, нежели разжигаться?»* И *можно ли* быть христианином, коль скоро понятием об *immaculata conceptio*** самое происхождение человека охристианивается, т.е. загрязняется?.. Я не знаю ни одной книги, где о женщине сказано бы было так много нежных и благожелательных вещей, как в книге законов Ману; эти старые седобородые святые обладают таким искусством вежливости по отношению к женщинам, как, может быть, никто другой. «Уста женщины, — говорится в одном месте, — грудь девушки, молитва ребенка, дым жертвы всегда чисты».

В другом месте: «нет ничего более чистого, чем свет солнца, тень коровы, воздух, вода, огонь и дыхание девушки». Далее следует, быть может, святая ложь: «все отверстия тела выше пупка — чисты, все ниже лежащие — нечисты; только у девушки все тело чисто».

57

Если цель *христианства* сопоставить с целью законов Ману, если наилучшим образом осветить эту величайшую противоположность целей, то *нечестивость* христианских средств можно поймать *in flagranti****. Критик христианства не может избежать того, чтобы не выставить христианства заслуживающим *презрения*. Книга законов, вроде законов Ману, имеет такое же происхождение, как и всякая хорошая книга законов: она резюмирует опыт, благоразумие и экспериментальную мораль столетий, она подводит черту, но не творит ничего. Предпосылкой к коди-

* 1 Коринф. 7, 2, 9.

** непорочное зачатие (*лат.*).

*** на месте преступления, с поличным (*лат.*).

фикации такого рода является то, что средства создать авторитет *по истине*, медленно и дорогой ценой завоеванной, совершенно отличны от тех средств, которыми она доказывается. Книга законов никогда не говорит о пользе, об основаниях, о казуистике в предварительной истории закона: именно благодаря этому она лишилась бы того императивного тона, того «ты должен», которое является необходимым условием для повиновения. В этом-то и заключается проблема. — В определенный момент развития народа его глубокий, всеохватывающий опыт, — соотносно с которым он должен, т.е., собственно говоря, *может* жить, — является законченным. Его цель сводится к тому, чтобы собрать возможно полную и богатую жатву с времен эксперимента и *отрицательного* опыта. Следовательно, прежде всего теперь нужно остерегаться дальнейшего экспериментирования, дальнейшей эволюции ценностей, уходящего в бесконечность исследования, выбора, критики ценностей. Всему этому противопоставляется двойная стена: во-первых, *откровение*, т.е. утверждение, что разум тех законов *не* человеческого происхождения, что он *не* есть результат медленного изыскания, сопровождаемого ошибками, но, как имеющий божественное происхождение, он был только сообщен уже в совершенном виде, без истории, как дар, как чудо... Во-вторых, *традиция*, т.е. утверждение, что закон уже с древнейших времен существовал, что сомневаться в этом было бы нечестиво и преступно по отношению к предкам. Авторитет закона покоится на тезисах: Бог это *дал*, предки это *пережили*. Высший разум подобного процесса заключается в намерении оттеснить шаг за шагом сознание от жизни, признаваемой за правильную (т.е. *доказанную* огромным и тонко

просеянным опытом), чтобы достигнуть таким образом полного автоматизма инстинкта, — это предпосылки ко всякого рода мастерству, ко всякого рода совершенству в искусстве жизни. Составить книгу законов по образцу Ману — значит признать за народом мастера, признать, что он может претендовать на обладание высшим искусством жизни. *Для этого она должна быть создана бессознательно*: в этом цель всякой священной лжи. — *Порядок каст*, высший господствующий закон, есть только санкция *естественного порядка*, естественная законность первого ранга, над которой не имеет силы никакой произвол, никакая «современная идея». В каждом здоровом обществе выступают, обуславливая друг друга, три физиологически разнопритягательных типа, из которых каждый имеет свою собственную гигиену, свою собственную область труда, особый род чувства совершенства и мастерства. Природа, а не Ману отделяет одних — по преимуществу сильных духом, других — по преимуществу сильных мускулами и темпераментом и третьих, не выдающихся ни тем, ни другим, — посредственных: последние, как большинство, первые, как элита. Высшая каста — я называю ее кастой *немногих* — имеет, будучи совершенной, также и преимущества немногих: это значит — быть земными представителями счастья, красоты, доброты. Только наиболее одаренные духовно люди имеют разрешение на красоту, *на* прекрасное; только у них доброта не есть слабость. *Pulchrum est raucorum hominum*: доброе есть преимущество. Ничто так не возбраняется им, как дурные манеры, или пессимистический взгляд, глаз, который *всё видит в дурном свете*, или даже негодование на общую картину мира. Негодование — это преимущество чандалы; также и песси-

мизм. «*Мир совершенен*» — так говорит инстинкт духовно одаренных, инстинкт, утверждающий жизнь: «несовершенство, все, что стоит *ниже* нас, дистанция, пафос дистанции, сама чандала, — все принадлежит к этому совершенству». Духовно одаренные, как *самые сильные*, находят свое счастье там, где другие нашли бы свою погибель, — в лабиринте, в жестокости к себе и другим, в исканиях; их удовольствие — это самопринуждение; аскетизм делается у них природой, потребностью, инстинктом. Трудную задачу считают они привилегией; играть тяжестями, которые могут раздавить других, — это их *отдых*... Познание для них форма подвижничества. — Такой род людей более всех достоин почтения — это не исключает того, что они самые веселые, радушные люди. Они господствуют не потому, что хотят, но потому, что они *существуют*; им не предоставлена свобода быть вторыми. — *Вторые* — это стражи права, опекуны порядка и безопасности, это благородные воины, это прежде всего *король*, как высшая формула воина, судьи и хранителя закона. Вторые — это исполнители сильных духом, их ближайшая среда, то, что берет на себя все *грубое* в господстве, их свита, их правая рука, их лучшие ученики. — Во всем, повторяю, нет ничего произвольного, ничего «деланного»: все, что *не так*, то сделано, — природа там опозорена... Порядок каст, *иерархия*, только и формулирует высший закон самой жизни; разделение трех типов необходимо для поддержания общества, для того, чтобы сделать возможными высшие и наивысшие типы, — *неравенство* прав есть только условие к тому, чтобы вообще существовали права. — Право есть привилегия. Преимущество каждого в особенностях его бытия. Не будем низко оце-

нивать преимущества *посредственных*. Жизнь, по мере *возвышения*, всегда становится суровее, — увеличивается холод, увеличивается ответственность. Высокая культура — это пирамида: она может стоять только на широком основании, она имеет, как предпосылку, прежде всего сильную и здоровую посредственность. Ремесло, торговля, земледелие, наука, большая часть искусств, одним словом, все, что содержится в понятии *специальной* деятельности, согласуется только с посредственным — в возможностях и желаниях; подобному нет места среди исключений, относящийся сюда инстинкт одинаково противоречил бы как аристократизму, так и анархизму. Чтобы иметь общественную полезность, быть колесом, функцией, для этого должно быть естественное призвание: *не* общество, а род *счастья*, к которому способно только большинство, делает из них интеллигентные машины. Для посредственностей быть посредственностью есть счастье; мастерство в одном, специальность — это естественный инстинкт. Было бы совершенно недостойно более глубокого духа в посредственности самой по себе видеть нечто отрицательное. Она есть *первая* необходимость для того, чтобы существовали исключения: ею обуславливается высокая культура. Если исключительный человек относится к посредственным бережнее, чем к себе и себе подобным, то это для него не вежливость лишь, но просто его *обязанность*... Кого более всего я ненавижу между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую, апостолов чандалы, которые хоронят инстинкт, удовольствие, чувство удовлетворенности рабочего с его малым бытием, — которые делают его завистливым, учат его мести... Нет несправедливости в неравных правах, несправедливость в притязании на *«равные»*

права... Что *дурно*? Но я уже сказал это: все, что происходит из слабости, из зависти, из *мести*. — Анархист и христианин одного происхождения...

58

Конечно, есть различие, с какою целью лгут: для того ли, чтобы поддерживать или *чтобы разрушать*. Сравним *христианина* и *анархиста*: их цель, их инстинкт ведет только к разрушению. Доказательство этого положения можно вычитать из истории: она представляет его с ужасающей ясностью. Мы только что познакомились с религиозным законодательством, целью которого было «увековечить» великую организацию общества — высшее условие для того, чтобы *преуспевала* жизнь; христианство нашло свою миссию в том, чтобы положить конец такой организации, *потому что в ней преуспевает жизнь*. С давно прошедших времен эксперимента и неуверенности разум должен был отложить там свои плоды для дальнейшего пользования, и собранная жатва была так обильна, так совершенна, как только возможно: здесь, наоборот, жатва была *отравлена* за ночь... То, что составляло *aegs regennius — imperium Romanum*, самая грандиозная форма организации при труднейших условиях, такая форма, какая до сих пор могла быть только достигнута, в сравнении с которой все прошедшее и последующее есть только кустарничество, тупость, дилетантизм, — из всего этого те святые анархисты сделали себе «благочестие» с целью разрушить «мир», т.е. *imperium Romanum*, так, чтобы не осталось камня на камне, пока германцы и прочий сброд не сделались над ним господами... Христианин и анархист: оба *décadents*, оба не способны действо-

вать иначе, как только разлагая, отравляя, угнетая, *высасывая кровь*, оба — инстинкт *смертельной ненависти* против всего, что возвышается, что велико, что имеет прочность, что обещает жизни будущность... Христианство было вампиром *imperium Romanum*; за ночь погубило оно огромное дело римлян — приготовить почву для великой культуры, *требующей времени*. — Неужели все еще этого не понимают? Известная нам *imperium Romanum*, с которой мы лучше всего знакомимся из истории римских провинций, это замечательнейшее художественное произведение великого стиля, было лишь началом, его строение было *рассчитано* на тысячелетия; — никогда до сих пор не только не строили так, но даже не мечтали о том, чтобы строить настолько *sub specie aeterni*! — Эта организация была достаточно крепка, чтобы выдержать скверных императоров: случайность личностей не должна иметь значения в подобных вещах — *первый* принцип всякой великой архитектуры. Но она не могла устоять против *самого разрушительного* вида разложения — против *христианина*... Этот потайной червь, который во мраке, тумане и двусмысленности вкрался в каждую отдельную личность и из каждого высосал серьезное отношение к *истине*, вообще инстинкт к *реальности*; эта трусливая, феминистская и слащавая банда, шаг за шагом отчуждая «души» от грандиозного строительства, отчуждала те высокоценные, те мужественно-благородные натуры, которые чувствовали дело Рима как свое собственное дело, свою собственную нешуточность, свою собственную гордость. Пронырство лицемеров, скрытные сборища, такие мрачные понятия, как ад, как жертва невинного, как *unio mystica* в питии крови, и прежде всего медленно раздуваемый огонь мести, мести чандалы, — *вот* что

стало господствовать над Римом, тот род религии, которому уже Эпикур объявил войну в его зародышевой форме. Читайте Лукреция, чтобы понять, с *чем* боролся Эпикур, *не с* язычеством, но с «христианством», я хочу сказать, с порчей душ через понятия вины, наказания и бессмертия. — Он боролся с *подземными* культами, со всем скрытым христианством, — отрицать бессмертие было тогда уже истинным *освобождением*. — И Эпикур победил, всякий достойный уважения дух в римском государстве был эпикурейцем: *но вот явился Павел...* Павел, сделавшийся плотью и гением гнева чандалы против Рима, против «мира», жид, *вечный жид* par excellence... Он угадал, что при помощи маленького сектантского христианского движения можно зажечь «мировой пожар» в стороне от иудейства, что при помощи символа «Бог на кресте» можно суммировать в одну чудовищную власть все, лежащее внизу, все втайне мятежное, все наследие анархической пропаганды в империи. «Спасение приходит от иудеев». — Христианство, как формула, чтобы превзойти всякого рода подземные культы, например Осириса, Великой Матери, Митры, *и* чтобы суммировать их, — в этой догадке и заключается гений Павла. В этом отношении инстинкт его был так верен, что он, беспощадно насилуя истину, вкладывал в уста «Спасителю» своего изобретения те представления религий чандалы, при помощи которых затемнялось сознание; он *делал* из него нечто такое, что было понятно и жрецу Митры... И вот перед нами момент в Дамаске: он понял, что ему *необходима* вера в бессмертие, чтобы обесценить «мир», что понятие «ад» дает господство над Римом, что «потустороннее» *умерщвляет жизнь...* Нигилист и христианин (Nihilist und Christ) — это рифмуется, и не только рифмуется...

Вся работа античного мира *напрасна*: у меня нет слов, чтобы выразить чудовищность этого. — И принимая в соображение, что эта работа была только предварительной работой, что гранитом его самосознания был заложен лишь фундамент к работе тысячелетий, — весь *смысл* античного мира напрасен!.. К чему греки? к чему римляне? — Там были уже все предпосылки к научной культуре, все научные *методы*, было твердо поставлено великое несравненное искусство хорошо читать, — эта предпосылка к традиции культуры, к единству науки; естествознание в союзе с математикой и механикой было на наилучшем пути, — *понимание фактов*, последнее и самое ценное из всех пониманий, имело свои школы, имело уже столетия традиций! Понятно ли это? Все *существенное* было найдено, чтобы можно было приступить к работе: методы, повторяю десять раз, это и *есть* самое существенное, а вместе с тем и самое трудное, то, чему упорнее всего противятся привычки и лень. Все дурные христианские инстинкты сидят еще в нас, и нужно было огромное самопринуждение, чтобы завоевать свободный взгляд на реальность, осмотрительность в действии, терпение и серьезность в самомалейшем, всю *честность* познания, — и все это уже было там! было уже более чем два тысячелетия перед этим! Прибавьте сюда еще тонкий такт и вкус! *Не* как дрессировка мозга! *Не* как «немецкое» образование с вульгарными манерами! Но как тело, как жесты, как инстинкт, — одним словом, как реальность! *Все напрасно!* За одну лишь ночь стало это только воспоминанием! — Греки! римляне! Благородство инстинкта, вкус, методическое исследование, гений

организации и управления, вера, *воля* к будущему людей, великое утверждение всех вещей, воплотившихся в *imperium Romanum*, и очевидных для всех чувств, великий стиль, сделавшийся не только искусством, но реальностью, истиной, *жизнью*... — И все это завалено не через какую-нибудь внезапную катастрофу! Не растоптано германцами или иными увальнями! Но осквернено хитрыми, тайными, невидимыми малокровными вампирами! Не побеждено — только высосано!.. Скрытая мстительность, маленькая зависть стали *господами*! Разом поднялось *наверх* все жалкое, страдающее само по себе, охваченное дурными чувствами, весь душевный мир *гетто*!.. Нужно только почитать какого-нибудь христианского агитатора, например св. Августина, чтобы понять, чтобы *почувствовать обонянием*, какие нечистоплотные существа выступили тогда *наверх*. Совершенно обманулись бы, если бы предположили недостаток ума у вождей христианского движения: о, они умны, умны до святости, эти господа отцы церкви! Им недостает совсем иного. Природа ими пренебрегла, — она забыла уделить им скромное приданое честных, приличных, *чистоплотных* инстинктов... Между нами будь сказано, это не мужчины... Если ислам презирает христианство, то он тысячу раз прав: предпосылка ислама — мужчины...

60

Христианство погубило жатву античной культуры, позднее оно погубило жатву культуры *ислама*. Чудный мавританский культурный мир Испании, в сущности более *нам* родственный, более говорящий нашим чувствам и вкусу, чем Рим и Греция, был *растоптан*

(я не говорю, какими ногами). Почему? потому что он обязан своим происхождением благородным мужественным инстинктам, потому что он утверждал жизнь также и в ее редких мавританских утонченностях... Крестоносцы позже уничтожали то, перед чем им приличнее было бы лежать во прахе, — культуру, сравнительно с которой даже наш девятнадцатый век является очень бедным, очень «запоздавшим». — Конечно, они хотели добычи: Восток был богат... Однако смущаться нечего. Крестовые походы были только пиратством высшего порядка, не более того! Немецкое дворянство, в основе своей — дворянство викингов, было, таким образом, в своей стихии: церковь знала слишком хорошо, как ей *быть* с немецким дворянством... Немецкое дворянство — всегдашние «швейцарцы» церкви, всегда на службе у всех дурных инстинктов церкви, но на *хорошем жалованье*... Как раз церковь, с помощью немецких мечей, немецкой крови и мужества, вела смертельную войну со всем благородным на земле! В этом пункте сколько наболевших вопросов! Немецкого дворянства почти *нет* в истории высшей культуры, и можно догадаться почему: христианство, алкоголь — два *великих* средства разложения... Не может быть выбора между исламом и христианством, так же как между арабом и иудеем. Решение дано, и никто не волен выбирать. Или мы чандала или *не* чандала... «Война с Римом на ножах! Мир, дружба с исламом»: так чувствовал, так *поступал* тот великий свободный дух, гений среди немецких императоров, Фридрих Второй. Как? неужели, чтобы *прилично* чувствовать, немцу нужно быть гением, свободным духом? Я не понимаю, как немец мог когда-нибудь чувствовать *по-христиански*...

Здесь необходимо коснуться воспоминаний, еще в сто раз более мучительных для немцев. Немцы лишили Европу последней великой культурной жатвы, которую могла собрать Европа, — культуры *Ренессанса*. Понимают ли наконец, *хотят* ли понять, что такое был Ренессанс? *Переоценка христианских ценностей*, попытка доставить победу *противоположным* ценностям, *благородным* ценностям, при помощи всех средств, инстинктов, всего гения... До сих пор была только *эта* великая война, до сих пор не было постановки вопросов более решительной, чем постановка Ренессанса, — *мой* вопрос есть его вопрос: никогда *нападение* не было проведено более основательно, прямо, более строго по всему фронту и в центре! Напасть в самом решающем месте, в самом гнезде христианства, здесь возвести на трон *благородные* ценности, я хочу сказать, возвести их в инстинкты и глубокие потребности и желания там восседающих... Я вижу перед собой *возможность* совершенно неземного очарования и прелести красок: мне кажется, что она сверкает всем трепетом утонченной красоты, что в ней искусство действует так божественно, так чертовски божественно, что напрасно мы искали бы в течение тысячелетий второй такой возможности: я вижу зрелище, столь полное смысла и вместе с тем удивительно парадоксальное, что все божества Олимпа имели бы в нем повод к бессмертному смеху, — *Чезаре Борджа папа*... Понимают ли меня?.. *Это* была бы победа, которой в настоящий момент добиваюсь только я один: тем самым христианство *было уничтожено!* — Но что случилось? Немецкий монах Лютер пришел в Рим. Этот монах, со всеми мстительными инстинктами раздавшегося священника, возмутился в Риме *против*

Ренессанса... Вместо того чтобы с глубокой благодарностью понять то чудовищное, что произошло, — победу над христианством в его *гнезде*, он лишь питал этим зрелищем свою ненависть. Религиозный человек думает только о себе. — Лютер видел *порчу* папства, в то время как налицо было противоположное: уже не старая порча, не *peccatum originale*, не христианство восседало на папском престоле! Но жизнь! Но триумф жизни! Но великое Да всем высоким, прекрасным, дерзновенным видам!.. И Лютер снова *восстановил церковь*; он напал на нее... Ренессанс — явление без смысла, вечное *напрасно*. — Ах, эти немцы, чего они уже нам стоили! Напрасно — это всегда было *делом* немцев. — Реформация, Лейбниц, Кант и так называемая немецкая философия, войны за «свободу», империя — всякий раз обращается в тщету то, что уже было, *чего нельзя уже вернуть назад*... Сознаюсь, что это *мои* враги, эти немцы: я презираю в них всякого рода нечистоплотность понятия и оценки, *трусость* перед каждым честным Да и Нет. Почти за тысячу лет они все сбили и перепутали, к чему только касались своими пальцами, они имеют на своей совести все половинчатости — три восьминых! — которыми больна Европа, они имеют также на совести самый нечистоплотный род христианства, какой только есть, самый неисцелимый, самый непровержимый — протестантизм... Если не справятся окончательно с христианством, то *немцы* будут в этом виноваты...

62

— Этим я заканчиваю и высказываю мой приговор. Я *осуждаю* христианство, я выдвигаю против христианской церкви страшнейшие из всех обвине-

ний, какие только когда-нибудь бывали в устах обвинителя. По-моему, это есть высшее из всех мыслимых извращений, оно имело волю к последнему извращению, какое только было возможно. Христианская церковь ничего не оставила не тронутым в своей порче, она обесценила всякую ценность, из всякой истины она сделала ложь, из всего честного — душевную низость. Осмеливаются еще мне говорить о ее «гуманитарных» благословениях! *Удалить* какое-нибудь бедствие — это шло глубоко вразрез с ее пользой: она жила бедствиями, она *создавала* бедствия, чтобы *себя* увековечить... Червь греха, например, таким бедствием впервые церковь обогатила человечество! — «Равенство душ перед Богом», эта фальшь, этот *предлог* для гапсисес всех низменно настроенных, это взрывчатое вещество мысли, которое сделалось наконец революцией, современной идеей и принципом упадка всего общественного порядка, — таков *христианский* динамит... «Гуманитарные» благословения христианства! Выдрессировать из *humanitas* само противоречие, искусство самоосквернения, волю ко лжи во что бы то ни стало, отвращение, презрение ко всем хорошим и честным инстинктам! Вот что такое, по-моему, благословения христианства! — Паразитизм, как *единственная* практика церкви, высасывающая всю кровь, всю любовь, всю надежду на жизнь своим идеалом бледной немочи и «святости»; потустороннее как воля к отрицанию всякой реальности; крест как знак принадлежности к самому подземному заговору, какие когда-либо бывали, — заговору против здоровья, красоты, удачливости, смелости, духа, против душевной доброты, *против самой жизни...*

Это вечное обвинение против христианства я хочу написать на всех стенах, где только они есть, — у меня

есть буквы, чтобы и слепых сделать зрячими... Я называю христианство *единым* великим проклятием, *единой* великой внутренней порчей, *единым* великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито, коварно, низко, достаточно *мало*, — я называю его *единым* бессмертным, позорным пятном человечества...

И вот считают *время* с того *dies nefastus**, когда начался этот рок, с *первого* дня христианства! — *Почему лучше не с последнего?* — *Не с сегодняшнего?* — Переоценка всех ценностей!

* злосчастный день (*лат.*).

ЕССЕ НОМО
КАК СТАНОВЯТСЯ САМИ СОБОЮ

Предисловие

1

В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, *кто я*. Знать это, в сущности, не так трудно, ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величием моей задачи и *ничтожеством* моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, — один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «культурным» человеком, прошедшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я *не живу*... При этих условиях возникает обязанность, против которой, в сущности, возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: *Выслушайте меня! ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!*

2

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, — я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. «Улучшить» человечество — было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идолов; пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое ремесло скорее — *низвергать идолов* — так называю я «идеалы». В той мере, в какой *выдумали* мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность... «Мир истинный» и «мир кажущийся» — по-немецки: мир *изолганный* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, *обратных тем*, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее *право* на будущее.

3

Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый* воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество — но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! — Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал,

есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании по *запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась *скрытая* история философов, психология их великих имен. — Та степень истины, какую только дух *переносит*, та степень истины, до которой только и *держат* дух, — вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *вытекает* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... Nitimur in *vetitum**: этим знаменем некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина. —

4

Среди моих сочинений мой «Заратустра» занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха — самый факт человек лежит в чудовищной дали *ниже* ее — она также книга *самая глубокая*, рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый ко-

* мы склонны к запретному (*лат.* — *Ovid. Amores* III 4, 17).

лодец, откуда всякое погрузившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не «пророк», не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Надо прежде всего правильно *вслушаться* в голос, исходящий из этих уст, в этот халкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром». —

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и, пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня. —

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют веры: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом — нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем — несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не *соблазнитель* ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спаситель мира» или какой-нибудь *décadent*... Он не только говорит иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ошипать венки мои?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь *падет* уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы — верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только *когда вы все отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня *было право* хоронить его — что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга «Переоценки всех ценностей», «Песни Заратустры», «Сумерки идолов», моя попытка философствовать молотом — сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью! *Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни?* — Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

ПОЧЕМУ Я ТАК МУДР

1

Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни — одновременно и *décadent*, и *начало* — всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. — Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, — он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время — это было в 1879 году — я покинул профессию в Базеле, прожил

летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, ужились во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и *спокойствия*, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. — Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубомрок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: «Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь

глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. — Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление — он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода *décadence*. Нужно ли после этого говорить, что я *испытан* в вопросах *décadence*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель *puances*, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые* понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности *более богатой* жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса — таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы *перемещать перспективы*: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна «переоценка ценностей». —

2

Если исключить, что я *décadent*, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства против болезненных состояний: тогда как *décadent* всегда выбирает вредные для себя сред-

ства. Как *summa summaum**, я был здоров; как частность, как специальный случай, я был *décadent*. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе *лечиться*, — все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, *что* было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого — всякий физиолог согласится с этим — *быть в основе здоровым*. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне *теперь* этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, — я сделал из моей воли к здоровью, к *жизни*, мою философию... Потому что — и это надо отметить — я *перестал* быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и уныния... А в чем проявляется, в сущности, *удачность*! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинк-

* в целом (*лат.*).

тивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, *свою* сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами; он достаивает чести, *выбирая, допуская, доверяя*. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость, — он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он справляется с собою, с другими, он умеет *забывать*, — он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь *противоположность décadent*: ибо я только что описал *себя*.

3

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимом разъединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях — я двойник, у меня есть и «второе» лицо, кроме первого. И, должно быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, — я последний *антиполитический* немец. И однако мои предки были польские дворяне: от них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и *liberum veto**. Когда

* свободное вето (*лат.*).

я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к *крапленным* немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае, нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849-м. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем у четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов — *Фридрих* Вильгельм. Одну выгоду, во всяком случае, представлял выбор

этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. — Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества — за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. — Чтобы только понять что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, — одной ногой стоять *по ту сторону* жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя — этим я также обязан моему несравненному отцу, — в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, — но, пожалуй, найдется слишком много следов *доброй* воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда

выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», мне удастся, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они так не звучали... Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал *не* ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюринговском!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на *свою* высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, — но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не «воля», меньше всего *злая* воля: скорее я мог бы — я только что указал на это — сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, — *сострадание* только у *décadents* зовется добродетелью! Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликат-

ное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, — что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в *преимущественное право* на тяжелую вину. Преодоление сострадания отношу я к *аристократическим* добродетелям: в «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить *себе*. Здесь остаться господином, здесь *высоту* своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, — истинное *доказательство* его силы...

5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как понятие «равные права», я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или *очень большая* глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, — равно как и всякую оборону, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей: я посылаю горшок с вареньем, чтобы

отделаться от *кислой* истории... Стоит только дурно поступить со мною, как я «мщу» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить «злодею» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) — или *попросить* его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер — оно портит даже желудок. Все молчалники страдают дурным пищеварением. — Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является *самой гуманной* формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. — Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого *делать*, кроме несправедливости, — взять на себя не наказание, а *вину*. — Только это и было бы божественно.

6

Свобода от *ressentiment*, ясное понимание *ressentiment* — кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны*

и нападения в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть — всё оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само *есть* своего рода *ressentiment*. — Против него существует у больного только одно великое целебное средство — я называю его *русским фатализмом*, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится наконец в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать *в* себя — вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике — и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как истощался бы слишком быстро, *если бы* реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь — это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов *ressentiment*. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле — все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. *Ressentiment* есть нечто *само по себе* запретное для больного — *его* зло: к сожалению, также и его наиболее естественная склонность. — Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», ко-

тору можно было бы скорее назвать *гигиеной*, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над *ressentiment*: освободить *от него* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» — это стоит в начале учения Будды: так говорит не мораль, так говорит физиология. — *Ressentiment*, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому — в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, *ressentiment* является *лишним* чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия приняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о «свободной воле» — моя борьба с христианством есть только частный случай ее, — тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой *инстинкт-уверенность* на практике. Во времена *décadence* я *запрещал* их себе как вредные; как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я *запрещал* их себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, — это было лучше, чем изменять их, чем *чувствовать* их изменчивыми, — чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. — Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» — это и есть в таких обстоятельствах само *великое разумение*.

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. *Уметь* быть врагом, быть врагом — это предполагает, быть может, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она *ищет* сопротивления: *агрессивный* пафос так же необходимо принадлежит к силе, как мстительные последыши чувства к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено ее слабостью, как и ее чувствительность к чужой беде. — Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода *меру*; всякое возрастание проявляется в искании более сильного противника — или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача *не* в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, — *равного* противника... Равенство перед врагом есть первое условие *честной* дуэли. Где презирают, там *нельзя* вести войну; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не *должно* быть войны. — Мой праксис войны выражается в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, — я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это *мой* критерий правильного образа действий. В-третьих: я никогда не нападаю на личности — я пользуюсь личностью только как сильным

увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на *успех* его дряхлой книги у немецкого «образования», — так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплеки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: за или против — это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, — самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства *de rigueur*, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий. —

8

Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей природы, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное, или «потроха», всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю*... В этой впечатлительности — мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая

скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие не примиримые с моей чистоплотностью натуры относятся, в свою очередь, с предосторожностью к моему отвращению: но от этого они не становятся благоухающими... Как я себя постоянно приучал — крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, — я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения; моя гуманность состоит *не* в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить* само это сочувствие к нему... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. — Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, *чистоте*... К счастью, не *чистому безумству*. — У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. — *Отвращение* к человеку, к «отребью» было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем *освобождении* от отвращения?

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен

был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости! —

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьет для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе:

мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, — как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной — о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это — *наша* высь и наша родина: слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам *своей* чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу — так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их — так хочет мое будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: остерегайтесь харкать *против* ветра!..

ПОЧЕМУ Я ТАК УМЕН

1

Почему я о некоторых вещах знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми, — я себя не расточал. — Настоящих *религиозных* затруднений, например, я не знаю по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «склонным ко греху». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что судачат на сей счет, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения. Я не хотел бы отказываться от поступка *после его совершения*, я предпочел бы совершенно исключить дурной исход, *последствия* из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют *верный* глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода «*дурным глазом*». Читить тем выше то, что не удалось, как раз *потому*, что оно не удалось, — это уже скорее принадлежит к моей морали. — «Бог», «бессмертие души», «искупление», «потусторонний мир» — сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, — быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? — Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше

как событие; он разумеется у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком *загадочен*, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, — в сущности, даже просто грубый, как кулак, *запрет* для нас: вам нечего думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит «спасение человечества», чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о *питании*. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: «как должен именно *ты* питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtù* в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от моралина?» — Мои опыты здесь из ряда вон плохи; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «разуму». Только совершенная негодность нашей немецкой культуры — ее «идеализм» — объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Эта «культура», которая наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми «идеальными» целями, например за «классическим образованием», — как будто уже не осуждено наперед соединение в *одном* понятии «классического» и «немецкого»! Более того, это действует увеселительно — представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! — В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел *плохо* — выражаясь морально, «безлично», «бескорыстно», «альтруистически», — на благо поваров и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою «волю к жизни». В целях недостаточного

питания еще испортить себе и желудок — эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес сюда перемену.) Но немецкая кухня вообще — чего только нет у нее на совести! Суп *перед* обедом (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca**); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только *старых* немцев, то становится понятным происхождение *немецкого духа* — из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. — Но и *английская* диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде «возвращения к природе», именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги — ноги англичанок... Лучшая кухня — кухня *Пьемонта*. — Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль скорби», — в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я *переживал* это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только суета молодых людей, позднее — дурная привычка. Может быть, в этом *терпком* суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет*, для этого я должен был бы быть христианином, стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом.

* на немецкий лад (*ит.*).

Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от *малых*, сильно разбавленных доз алкоголя я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *сильных* дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также переписать в течение *одной* ночи длинное латинское сочинение, с честолюбием в перо, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью гог самого тяжелого калибра — это, в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, быть может, и физиологии Саллюстия, что бы ни думала на сей счет почтенная Шульпфорта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее *против* всяких «духовных» напитков: я, противник вегетарианства по опыту, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем *более духовным* натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно *воды*... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс); маленький стакан следует всюду за мною, как собака. In vino veritas: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии «истины» — для меня дух носится над водою... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка *надо знать*. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, — таковы обеды за table d'hôte. — Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. *Чай* только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на

целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала: нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. — Как можно меньше *сидеть*, не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении — когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. — Сидячая жизнь — я уже говорил однажды — есть истинный *грех* против духа святого. —

2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте* и *климате*. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на *обмен веществ*, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животный *vigor* никогда не станет в нем настолько большим, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: *это* могу я один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто «немецкое»; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног* духа; ведь сам «дух» есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят

места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины — эти имена о чем-нибудь да говорят: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом — стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта-тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте, и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о том *зловещем* факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для *меня запретных* местностях. Наумбург, Шульпфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция — все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, — например бесспорному недостатку *удовлетворительного* общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым

и смелым. Невежество in physiologicis — проклятый «идеализм» — вот действительная напасть в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все промахи, все большие инстинкты-заблуждения и «скромности» в отношении *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом — почему по меньшей мере не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой *охраны* повелительного инстинкта; это было приравнивание себя к кому угодно, это было «бескорыстие», забвение своей дистанции — нечто, чего я себе никогда не прошу. Когда я пришел почти к концу, именно *потому*, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни — об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму. —

3

Выбор пищи; выбор климата и места; третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего способа отдыха*. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть sui generis, пределы ему дозволенного, т.е. *полезного*, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам — чего я не

принимаю уже всерьез. Чтение есть для меня отдых именно от *моей* серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и, в сущности, весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я *чужой* мысли тайно перелезть через стену? — А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! — Будут ли это немецкие книги?.. Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? — Прекрасное исследование Виктора Брошара, *les Sceptiques Grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laertiana*. Скептики — это единственный *достойный уважения* тип среди от двух- до пятизначной семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в *доказанных* для меня книгах. Мне, быть может, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно также много и многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем «терпимость», «*largeur du coeur*»* и прочая «любовь к ближ-

* широта души (*фр.*).

нему»... Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старших французов: я верю только во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе «культурой», не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. — Что я не читаю Паскаля, но *люблю* как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику ужаснейшей формы нечеловеческой жестокости; что в моем духе, кто знает? должно быть, и в теле есть нечто от причудливости Монтеня; что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против дикого гения, каков Шекспир, — все это в конце концов не исключает возможности, чтобы и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад — ибо их число совсем не мало — господина Поль Бурже, Пьер Лоти, Жид, Мельяк, Анатолий Франс, Жюль Леметр или, чтобы назвать одного из сильной расы, истого латинянина, которому я особенно предан, — Ги де Мопассан. Я предпочитаю *это* поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она *портит* культуру. Впервые война «освободила» дух во Франции...

Стендаль, одна из самых прекрасных случайностей моей жизни — ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и никогда рекомендация, — совершенно не оценим с его предвосхищающим взглядом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста (*ex ungue Napoleonem**); наконец, и это немалая заслуга, как *честный* атеист — редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции *species* — надо воздать должное *Проксперу Мериме*... Может быть, я и сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроумность атеиста, которую именно я мог бы сказать: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует»... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против существования? *Бог*...

4

Высшее понятие о лирическом поэте дал мне *Генрих Гейне*. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, — я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. — И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка — в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. — С «Манфредом» *Байрона* должны меня связывать глубокие родственные узы: я находил в себе все эти бездны — в тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмелива-

* Игра слов от латинского выражения «*ex ungue leonem*» (по когтям узнают льва).

ется в присутствии «Манфреда» произнести слово «Фауст». Немцы *не способны* к пониманию величия: доказательство — Шуман. Я сочинил намеренно, из злобы к этим слащавым саксонцам контрвертюру к «Манфреду», о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге: что это как бы насилие над Евтерпой. — Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают — это есть или этого нет. Великий поэт черпает *только* из своей реальности — до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего «Заратустру», я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. — Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутком! — *Понимают ли* Гамлета? Не сомнение, а *несомненность* есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все *боимся* истины... И я должен признаться в этом: я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и саможиводер этого самого жуткого рода литературы, — что *мне* до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности образа не только совместима с самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению — *она даже предполагает ее*. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, *что* он делал, *чего* хотел, *что* пережил в себе... К черту, господу критики! Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим

именем, например именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе «Человеческого, слишком человеческого» провидца Заратустры...

5

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей — *глубоких мгновений*... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, — на *нашем* небе никогда не было облаков. — И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, — у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против *hoc genus omne*, которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на *самих себя*... Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, — я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером: я принимал, я почитал его как *заграницу*, как противоположность, как живой протест против всех «немецких добродетелей». — Мы, которые в болотном воздухе пятидесятих годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия «немецкое»; мы и не можем быть не чем иным, как революционерами, — мы не примиримся с положением вещей, где господствует *лицемер*. Мне совершенно безразлично, играет ли он

теперь другими красками, облачен ли он в пурпур или одет в форму гусара... Ну что ж! Вагнер был революционером, он бежал от немцев... У *артиста* нет в Европе отечества, кроме Парижа; *délicatesse* всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье *nuances*, психологическую болезненность — всё это находят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scene* — это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен — Вагнер был отнюдь не добродушен... Но я уже достаточно высказался (в «По ту сторону добра и зла»), куда относится Вагнер, кто его ближние: это французская позднейшая романтика, те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с неким *fond* болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики *выражения*, насквозь виртуозы... Кто был первым *интеллигентным* приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот самый, кто первый понял Делакруа, первый типический *décadent*, в ком опознало себя целое поколение артистов, — он был, возможно, и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он *снизошел* к немцам — что он сделался имперсконемецким... Куда бы ни проникала Германия, она *портит* культуру. —

6

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был *приговорен* к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Ваг-

нер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *rag excellence* — яда, я не оспариваю этого... С той минуты, как появился клавираусцуг «Тристана» — примите мой комплимент, господин фон Бюлов! — я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя — еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения, равного «Тристану» по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке «Тристана». Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на «Мейстерзингерах» и «Кольце». Сделаться более здоровым — это *шаг назад* для природы, каков Вагнер... Я считаю первостепенным счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть *зрелым* для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого «сладострастия ада»: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. — Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди

немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. —
Прежде всего два века психологической и артистической дисциплины, господа германцы!.. Но этого нельзя наверстать. —

7

Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего я, в сущности, требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, полная лукавства и грации... Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы — или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю Зигфрид-идиллию Вагнера, может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что создано по ту сторону Альп — *по эту же сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без моего Юга в музыке, без музыки моего венецианского maestro Pietro Gasti. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я, собственно, говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею делать разницы между слезами и музыкой — я знаю счастье думать о *Юге* не иначе как с дрожью ужаса.

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по влаге дрожащей
золота струи текли.
Гондолы, факелы, музыка —
В сумерках все расплывалось...

Звуками теми втайне задеты,
струны души зазвенели,
и гондольеру запела,
дрогнув от яркого счастья, душа.
— Слышал ли кто ее песнь?..

8

Во всем этом — в выборе пищи, места, климата, отдыха — повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется как инстинкт *самозащиты*. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе — первое благоразумие, первое доказательство того, что человек не есть случайность, а необходимость. Расхожее название этого инстинкта самозащиты есть *вкус*. Его императив повелевает не только говорить Нет там, где Да было бы «бескорыстием», но и говорить Нет *так редко, как только возможно*. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это Нет все вновь и вновь необходимым. Разумность здесь заключается в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правило, в привычку, обусловливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши *большие* издержки суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе есть издержка — пусть в этом не заблуждаются, — *растра-*

ченая на отрицательные цели сила. От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. — Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий большой город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в *ежа*? — Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а *открытые* руки...

Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы *свести до возможного минимума реагирование* и отстранять от себя положения и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который, в сущности, лишь «переворачивает» горы книг — средний филолог до 200 в день, — совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он *отвечает* на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, — он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, — сам он не думает больше... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть *décadent*. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и свободные натуры уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру — «мысль». — Ран-

ним утром, в начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил читать *книгу* — это называю я порочным! —

9

В этом месте нельзя уклониться от истинного ответа на вопрос, *как становятся сами собою*. И этим я касаюсь главного пункта в искусстве самосохранения — *эгоизма*... Если допустить, что задача, определение, *судьба* задачи значительно превосходит среднюю меру, то нет большей опасности, как увидеть себя самого *одновременно* с этой задачей. Если люди слишком рано становятся сами собою, это предполагает, что они даже отдаленнейшим образом не подозревают, *что* они есть. С этой точки зрения имеют свой собственный смысл и ценность даже жизненные *ошибки*, временное блуждание и окольные пути, остановки, «скромности», серьезность, растроченная на задачи, которые лежат по ту сторону собственной задачи. В этом находит выражение великая мудрость, даже высшая мудрость, где *nosce te ipsum** было бы рецептом для гибели, где забвение себя, *непонимание* себя, умаление себя, сужение, сведение себя на нечто среднее становится самим разумом. Выражаясь морально: любовь к ближнему, жизнь для других и другого *может* быть охранительной мерой для сохранения самой твердой любви к себе; это исключительный случай, когда я против своих правил и убеждений становлюсь на сторону «бескорыстных» инстинктов — они служат здесь *эгоизму* и *воспитанию своего Я*. — Надо всю поверхность сознания — сознание есть

* познай самого себя (*лат.*).

поверхность — сохранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого высокопарного слова, всякой высокопарной позы! Это сплошные опасности, препятствующие слишком раннему «самоуразумению» инстинкта. — Между тем в глубине постепенно растет организующая, призванная к господству «идея» — она начинает повелевать, она медленно выводит *обратно* с окольных путей и блужданий, она подготавливает *отдельные* качества и способности, которые проявятся когда-нибудь как необходимое средство для целого, — она выработывает поочередно все *служебные* способности еще до того, как предположит что-либо о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». — Если рассматривать мою жизнь с этой стороны, она представится положительно чудесной. Для задачи *переоценки ценностей* потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном лице, прежде всего потребовалась бы противоположность способностей без того, чтобы они друг другу мешали, друг друга разрушали. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; огромное множество, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, — таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его *высший надзор* проявлялся до такой степени сильно, что я ни в коем случае и не подозревал, что созревает во мне, — что все мои способности в один день *распустились* внезапно, зрелые в их последнем совершенстве. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь пришлось стараться, — ни одной черты *борьбы* нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической природы. Чего-нибудь

«хотеть», к чему-нибудь «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» — ничего этого я не знаю из опыта. И в данное мгновение я смотрю на свое будущее — *широкое* будущее! — как на гладкое море: ни одно желание не пенится в нем, я ничуть не хочу, чтобы что-либо стало иным, нежели оно есть; я сам не хочу стать иным... Но так жил я всегда. У меня не было ни одного желания. Едва ли кто другой на сорок пятом году жизни может сказать, что он никогда не заботился о *почестях, о женщинах, о деньгах!* — Не то чтобы у меня их не было... Так, сделался я, например, однажды профессором университета — я даже отдаленнейшим образом не помышлял об этом, потому что мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше сделался я однажды филологом: в том смысле, что моя *первая* филологическая работа, мое начало во всяком смысле, была принята моим учителем Ричлем для напечатания в его «*Rheinisches Museum*» (*Ричль* — я говорю это с уважением — единственный гениальный ученый, которого я до сих пор видел. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и при которой даже немец становится симпатичным — даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими словами сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого соотечественника, *умного* Леопольда фон Ранке...).

10

Меня спросят, почему я, собственно, рассказал все эти маленькие и, по распространенному мнению, безразличные вещи; этим я врежу себе самому тем более, если я призван решать великие задачи. Ответ:

эти маленькие вещи — питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия — неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать *перечувствовать*. То, что человечество до сих пор серьезно оценивало, были даже не реальности, а простые химеры, говоря строже, *ложь*, рожденная из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур — все эти понятия «Бог», «душа», «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь»... Но в них искали величия человеческой природы, ее «божественность»... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, — что учили презирать «маленькие» вещи, стало быть, основные условия самой жизни... Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали как *первых* людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще — для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов: все они нездоровые, в основе неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: мое преимущество состоит в самом тонком понимании всех признаков здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжелой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моем существе черту фанатизма. Ни в одно мгновение моей жизни нельзя указать мне самонадеянного или патетического поведения. Пафос позы *не* есть принадлежность величия; кому нужны вообще позы, тот *лжив*... Берегитесь всех живописных людей! — Жизнь становилась для меня легкой, легче всего, когда она требовала от меня наиболее тяжелого. Кто

видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам — *игру*: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле, все это будет возражением против человека и еще больше против его творения!.. Нельзя иметь нервов... *Страдать* от безлюдья есть также возражение — я всегда страдал только от «многолюдья»... В абсурдно раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня не дойдет ни одно человеческое слово, — видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчило? — И нынче я также любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низменным существам — во всем этом нет ни грана высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот *угадывает*, что он мною презираем: я возмущаю одним своим существованием все, что носит в теле дурную кровь... Моя формула для величия человека есть *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее — всякий идеализм есть ложь перед необходимостью, — *любить* ее...

ПОЧЕМУ Я ПИШУ ТАКИЕ ХОРОШИЕ КНИГИ

1

Я одно, мои сочинения другое. Здесь, раньше чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам еще не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования «Заратустры». Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал *ушей и рук* для *моих истин*: что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня — это не только понятно, но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, — а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. — Повторяю еще раз, в моей жизни почти отсутствуют следы «злой воли»; я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной «злой воли». Зато слишком много *чистого безумия!*. Мне кажется, что, если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе ока-

зять, — я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем «Заратустре», я сказал ему, что это в порядке вещей: кто понял, т.е. *пережил* хотя бы шесть предложений из «Заратустры», тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна «современным» людям. Как *мог бы* я при *этом* чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали «современники», которых я знаю! Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра — я говорю: «*non legog, non legar*»*. — Не то чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла *невинность* в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. — В конце концов не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора В. Видмана в «Bund» о «По ту сторону добра и зла» под заглавием «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же «Bund», были в моей жизни максимумом — остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего «Заратустру» как *высшее упражнение стиля* и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании; доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. — Благодаря шутке со стороны случая каждое предложение здесь с удивлявшей меня последовательностью было исти-

* ...меня *не* читают, меня *не* будут читать (лат.).

ной, поставленной вверх ногами: в сущности, не оставалось ничего другого, как «переоценить все ценности», чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя — вместо того чтобы гвоздем бить по моей голове... Тем не менее я попытаюсь дать объяснение. — В конце концов никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай: допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов — что она является *первым* словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, *ничего и нет...* Это и есть мой средний опыт и, если угодно, *оригинальность* моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например «идеалиста»; кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. — Слово *сверхчеловек* для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим нигилистам — слово, которое в устах Заратустры, *истребителя* морали, вызывает множество толков, — почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как «полусвятой», как «полугений»... Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною «культ героев» Кар-

лейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. — Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной-единственной книге — дело касалось «По ту сторону добра и зла»; я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что «Nationalzeitung» — прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, — сам я, с позволения, читаю только «Journal des Débats» — дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как «знамения времени», как браво́й правой *юнкерской философии*, которой недоставало лишь мужества «Kreuzzeitung»?..

2

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели — сплошь *изысканные*, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке — везде открыли меня: меня *не* открыли только в плосковании Европы, в Германии... И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова «философия»; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до

сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть *до такой степени* философом... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удастся стать торжественным, самое большее — я прихожу в смущение... По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу всё, но *это* свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский *romancier* — абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу «*toutes mes audaces et finesses*»* — выражение господина Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой — «немецкой»: *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. — Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабёнок — мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю?.. Я *Антиосел* *par excellence*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, — по-гречески, и не только по-гречески, я *Антихрист*...

3

Я несколько знаю свои преимущества как писателя; отдельные случаи доказали мне, как сильно «портит» вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских.

* всех моих дерзостей и тонкостей (*фр.*).

Это несравненное отличие — войти в столь благородный и утонченный мир: для этого отнюдь не обязательно быть немцем; в конце концов это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне *высотой* хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, — я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, — цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка устранены из них раз и навсегда: никаких нервов, только веселое брюхо. Не только бедность и затхлый запах души устранены из них, но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях: одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например мои так называемые друзья, тот становится при этом «безличным»: меня поздравляют с тем, что я снова зашел «так далеко», — говорят также об успехе в смысле большей ясности тона... Совершенно порочные «умы», «прекрасные души», изолгавшиеся дотла, совсем не знают, что им делать с этими книгами, — следовательно, они считают их *ниже* себя, прекрасная последовательность всех «прекрасных душ». Рогатый скот среди моих знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда

разделяют моего мнения, но все же иногда... Это я слышал даже о «Заратустре»... Точно так же всякий «феминизм» в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами: никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя, *жесткость* должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, природным искателем приключений и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры — к нему одному, в сущности, я и обращаюсь: *кому* захочет он рассказать свою загадку?

«Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плывал под коварными парусами по страшным морям, — вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

— ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой и, где можете вы *угадать*, там ненавидите вы *делать выводы...*»

4

Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем *искусстве стиля*. Поделиться состоянием, внутренней напряженности пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, — в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля — самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо на-

делен был человек. *Хорош* всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в *жестах* — все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. — Хороший стиль *сам по себе* — чистое безумие, сплошной «идеализм»: все равно что «прекрасное *само по себе*» или «доброе *само по себе*» или «вещь *сама по себе*»... При том неперменном условии, что есть уши — уши, способные на подобный пафос и достойные его, — что нет недостатка в тех, с кем *позволительно* делиться. — Мой Заратустра, например, еще ищет их — ах! он будет еще долго искать их! — Нужно быть *достойным* того, чтобы испытывать его... А до тех пор не будет никого, кто бы понял *искусство*, здесь расточенное: никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке — это еще нужно было доказать: я и сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще. Искусство *великого* ритма, *великий стиль* периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверхчеловеческой страсти был впервые открыт мною; дифирамбом «Семь печатей», которым завершается *третья*, последняя часть «Заратустры», я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией.

5

Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных *психолог*, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель — чита-

тель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был, в сущности, согласен весь мир — не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, — у меня являются как наивности заблуждения; такова, например, вера в то, что «эгоистическое» и «неэгоистическое» суть противоположности, тогда как само эго есть только «высшее мошенничество», «идеал»... Нет *ни* эгоистических, ни неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение: «человек стремится к счастью»... Или положение: «счастье есть награда добродетели»... Или положение: «радость и страдание противоположны». Цирцея человечества, мораль, извратила — *обморалила* — *все psychologica* до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто «неэгоистическое»... Надо крепко сидеть на *себе*, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем *нельзя* любить. Это в конце концов слишком хорошо знают бабенки: они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах... Могут ли я при этом высказать предположение, что я *знаю* бабенку? Это принадлежит к моему дионисическому приданому. Кто знает? может, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня — это старая история — не считая *неудачных* бабенку, «эмансипированных», лишенных способности деторождения. — К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользкое, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом!.. Маленькая женщина, ищущая мщениа,

способна опрокинуть даже судьбу. — Женщина несравненно злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... Все так называемые «прекрасные души» страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, — я говорю, не все, иначе я стал бы медициником. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. — Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная *война* полов, отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? оно является единственным достойным философа. Любовь — в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. — Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину — «освобождают» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. — «Эмансипация женщины» — это инстинктивная ненависть *неудачной*, т.е. не приспособленной к деторождению, женщины к женщине удачной — борьба с «мужчиной» есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя* как «женщину в себе», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть *анархистки* в мире «Вечно-Женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целое поколение хитрого «идеализма» — который, впрочем, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, — преследует целью *отравление* чистой совести, природы в половой любви... И для того чтобы не оставалось

никакого сомнения в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *по-рока*: под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает: «проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием «нечистого» есть преступление перед жизнью, — есть истинный грех против святого духа жизни». —

6

Чтобы дать понятие о себе как психологе, привожу любопытную страницу психологии из «По ту сторону добра и зла» — я встречаю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. «Гений сердца, свойственный тому великому Таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться — и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей *все более и более* приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним, — гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желанья — быть неподвижными как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо, — гений сердца, который научает неловкую и слишком торопливую руку

брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благости и сладостной гениальности под темным толстым льдом, и является волшебным жезлом для каждой крупницы золота, издавна погребенной в своей темнице под илом и песком; гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названья, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами...»

РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ

1

Чтобы быть справедливым к «Рождению трагедии» (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга *влияла* и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, — своим применением к *вагнерщине*, как если бы последняя была симптомом *восхождения*. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении «Парсифаля», что, собственно, на *моей* совести лежит происхождение столь высокого мнения о *культурной ценности* этого движения. — Я неоднократно встречал цитирование книги как «Возрождения трагедии из духа музыки»: были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи *Вагнера* — сверх этого не услышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. «Эллинство и пессимизм»: это было бы более недвусмысленным заглавием — именно, как первый урок того, каким образом греки отделялись от пессимизма, — чем они *преодолевали* его... Трагедия и есть доказательство, что греки *не* были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во

всем. — Взятое в руки с некоторой нейтральностью, «Рождение трагедии» выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно *начато* под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно — «не по-немецки», скажут теперь, — от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. «Идея» — противоположность дионисического и аполлонического — перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, — при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и *поняты*... Например, опера и революция... Два решительных *новшества* книги составляют, во-первых, толкование *дионисического* феномена у греков — оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. — Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узнанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный *décadent*. «Разумность» *против* инстинкта. «Разумность» любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно *отрицает* все *эстетические* ценности — единственные ценности, которые признает «Рождение трагедии»: оно в глубочайшем смысле *нигилистично*, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний

предел *утверждения*. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на «коварный род карликов», «подпольщиков»...

2

Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я *открыл* единственное иносказание и подобие, которым обладает история, — именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания *décadent* в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, — сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм *contra* пессимизм! — Я впервые узрел истинную противоположность — *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рожденная из избытка, из преизбытка формула *высшего утверждения*, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и *самое глубокое*, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего

лишнего — отвергаемые христианами и прочими ни-гилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, *назвать хорошим* инстинкт *décadence*. Чтобы постичь это, нужно *мужество* и, как его условие, избыток силы: ибо, насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и *бегство* от реальности — «идеал»... Слабые не вольны познавать: *décadents* *нуждаются* во лжи — она составляет одно из условий их существования. — Кто не только понимает слово «дионисическое», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или Шопенгауэра, — он *обоняет разложение*...

3

В какой мере я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною еще в «Сумерках идолов»: «Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в *жертве* своими высшими типами собственной неисчерпаемости, — *вот что* назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. *Не* для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому* вечной радостью станов-

ления, — той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения...*» В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого *трагического философа* — стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало *трагической мудрости* — тщетно искал я ее признаков даже у *великих* греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне *Гераклит*, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения *и уничтожения*, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, *становление*, при радикальном устранении самого понятия «*бытие*» — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о «вечном возвращении», стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, — это учение Заратустры *могло бы* однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления. —

4

Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим случай, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет

иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле *преизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю *трагический* век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия возродится, когда человечество, *без страдания*, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал *то*, что я слышал, — что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому — *настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным*, — есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте»: во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне — можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово: Вагнер. Весь образ *дифирамбического* художника есть образ *предсуществующего* поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиной, — без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. — Равным образом «идея Байрейта» превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот *великий полдень*, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, — кто знает? призрак праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-ис-

торический пафос; *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байреит, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной природы перенесены на натуру Вагнера — совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении возведено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость *анти-Александров*, которые снова *завяжут* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются во всемирно-исторические слова, которые вводят понятие «трагического чувства»: в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная «объективность», какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность, — истина обо мне говорила из полной страха глубины. Там описан и предвосхищен с поразительной надежностью *стиль* «Заратустры»; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* «Заратустра», для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ

1

Четыре «Несвоевременных» являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Гансом-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, — может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. *Первое* нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу *ее* победы над Францией... *Второе* «Несвоевременное» (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, *большую* от этой обесчелоченной шестеренки и механизма, от «безличности» работника, от ложной экономии «разделения труда». Утрачивается *цель* — культура: средства — современные научные приемы — *низводят на уровень варварства*... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка «историческое чувство», которым гордится этот век. — В *третьем* и *четвертом* «Несвоевременном»,

как указание к *высшему* пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два образа суровейшего *эгоизма* и *самодисциплины*, несвоевременные типы *rag excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», — Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше...

2

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации — что ее победа *не* культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и *satisfait**, короче, как автора его распивочного евангелия о «старой и новой вере» (слово «филистер культуры» перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембергцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее — в них было больше «берлинской хмели». Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные «*Grenzboten*»; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти

* довольный (*фр.*).

необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Гёттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил в последние годы своей жизни ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубоко-мысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение — вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. — Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого *гуманиста*, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное *возвращение* немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение,

написанное по-немецки — именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к «первым писателям» этой нации, он кончил выражением своего удивления моему *мужеству*, тому «высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»... Последующее влияние этого сочинения совершенно неопределимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в «Империи», нет достаточно свободной *руки*. Мой рай покоится «под сенью моего меча»... В сущности, я применил правило Стендаля: он советует ознаменовать свое вступление в общество *дуэлью*. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем *новый* род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская *species* «libres penseurs». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое *Я*, чего я *хочу*, если предположить, что они это поняли бы, — они еще верят совокупно в «идеал»... *Я* первый *имморалист*. —

Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера «Несвоевременные» могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях — исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие *самодисциплины*, *самозащиты* до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем, я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на страницах третьего «Несвоевременного». Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. — Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что, в сущности, они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байрейте» есть видение моего будущего; напротив, в «Шопенгауэре как воспитателе» вписана моя внутренняя история, мое *становление*. Прежде всего мой *обет!*.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, — на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, — о, как далек

я был тогда еще от этого! — Но я *видел* землю — я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности — *и* успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! — Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кро-воточащие. Но ветер *великой* свободы пронесится надо всем; сама рана *не* действует как возражение. — О том, как понимаю я философа — как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, — как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических «жвачных животных» и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о «Шопенгауэре как воспитателе», а о его *противоположности* — «Ницше как воспитателе». — Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо *понимал* свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает *чувство дистанции*, глубокую уверенность в том, что может быть у меня *задачей*, что только средством, от-дыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать *единым* — для умения прийти к *единому*. Я *должен был* еще некоторое время оставаться ученым. —

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С ДВУМЯ ПРОДОЛЖЕНИЯМИ

1

«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для *свободных* умов: почти каждая фраза в нем выражает победу — с этой книгой я освободился от всего *не присущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм — заглавие говорит: «где *вы* видите идеальные вещи, там вижу я — человеческое, ах, только слишком человеческое!..» *Я лучше* знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»: *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. — Имя Вольтера на моем сочинении — это был

действительно шаг вперед — ко мне... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не «дрожащий от факела» свет, освещается с режущей яркостью этот *подземный мир* идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов — перечисленное было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается — *он замерзает...* Здесь, например, замерзает «гений»; немного дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает — почти всюду замерзает «вещь в себе»...

2

Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестивалей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен — далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были *на своем месте* и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства.

Что случилось? — Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! *Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!*.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими «добродетелями». — Я думаю, что знаю вагнерианца, я «пережил» три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до «идеалистов» Байрейтских листков, путавших Вагнера с собою, — я слышал всякого рода исповеди «прекрасных душ» о Вагнере. Полцарства за *одно* осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, *Коль* — грациозные *in infinitum*! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает, — с надписью: так выглядел «дух», на котором была основана «Империя»... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием «Сошник» тезисы, сплошные жесткие *psychologica*, которые, может быть, встречаются еще раз в «Человеческом, слишком человеческом».

То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. *Нетерпение* к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать *себя*. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено — как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, когда *питание* моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с большими глазами пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел! — С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: *реальностей* вовсе не было в моем знании, а «идеальности» ни черта не стоили! — Поистине, жгучая жажда охватила меня — с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, — даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя *задача*. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым «призванием», к которому я *менее всего* был призван, — и потребностью в *заглушении* чувства пустоты и голода наркотическим искусством — например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность

буквально *вынуждает* другую. В Германии, в «Империи», чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустрашимым бременем, *зачахнуть*... Эти нуждаются в Вагнере как в *опиуме* — они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! *на пять, на шесть часов!* —

4

Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность — все казалось мне предпочтительнее того недостойного «бескорыстия», в которое я поначалу попал по незнанию, по *молодости* и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого «чувства долга». — Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь *дурное* наследство со стороны моего отца, — в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь *медленно высвобождала меня*: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *принуждением к бездействию*, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги», я годами ничего уже не читал — *величайшее* благоденствие, какое я себе когда-

либо оказывал! — Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, — но наконец *оно заговорило*. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю зарю» или на «Странника и его тень», чтобы понять, чем было это «возвращение к себе»: самым высшим родом *выздоровления!*.. Другое только следовало из него. —

5

«Человеческое, слишком человеческое», этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «мошенничеству высшего порядка», «идеализму», «прекрасному чувству» и прочим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина *Петера Гаста*, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял — он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была законченная вконец книга — к глубокому удивлению тяжелобольного, — я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста «Парсифаля»

с посвящением Вагнера мне — «моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник». — Это было скрещение двух книг — мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две *шпаги!*.. Во всяком случае, мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. — К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, *чему* настала пора. — Невероятно! Вагнер стал набожным...

6

Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, — об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко *Я*; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ я озарил всемирно-исторической славой — к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... *Другие* были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший реализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к «Генеалогии морали». — Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги «О происхождении

моральных чувств» (lisez*: Ницше, первый *имморалист*), с помощью своего острого и пронизательного анализа человеческого поведения? «Моральный человек стоит не ближе к умпостигаемому миру, чем человек физический, — *ибо* не существует умпостигаемого мира»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: *переоценки всех ценностей*), может некогда в будущем — 1890! — послужить секирой, которая будет положена у корней «метафизической потребности» человечества, — на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но, во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...

* читайте (*фр.*).

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

МЫСЛИ О МОРАЛИ КАК ПРЕДРАССУДКЕ

1

Этой книгой начинается мой поход против *морали*. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовался запах пороха — скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а *не* как пушечный выстрел. Что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не находится в противоречии с тем, что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости, — скорее она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было измышлено, *выскользнуто* в том сумбуре скал близ Генуи, где я одиночествовал и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении

с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, закреплять, правда, не с жестокостью того юного греческого бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоторого острия — пером... «Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» — эта *индийская* надпись высится на двери к этой книге. Где же *ищет* ее автор того нового утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой начнется снова день? — ах, целый ряд, целый мир новых дней! В *переоценке всех ценностей*, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта *утверждающая* книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль не нападают, ее просто не принимают в расчет... Эта книга заканчивается словом «или?» — это единственная книга, которая заканчивается словом «или?»...

2

Моя задача — подготовить человечеству момент высшего самосознания, *великий полдень*, когда оно оглянется назад и выглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, как *целое*, вопросы: почему? к чему? —

эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе *не* находится на верном пути, что оно управляется вовсе *не* божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствует инстинкт отрицания, порчи, инстинкт *décadence*. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом *первостепенной важности*, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы *верили*, что все, в сущности, находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесенное обратно в реальность, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, именно что человечество до сих пор пребывало в *наисквернейших* руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулиателями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и *затаившихся* священников — философов) сделался господином не только в пределах определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль *decadence*, воля к концу, которая ценится как мораль *сама по себе* и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу неэгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я *инфицированным*... Но весь мир не заодно со мною... Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего «эго-

изма», то вырождается и весь организм. Физиолог требует *ампутации* выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но священник *хочет* именно вырождения целого, вырождения человечества: оттого и *консервирует* он вырождающееся — этой ценой господствует он над ним... Какой смысл имеют ложные, *вспомогательные* понятия морали — «душа», «дух», «свободная воля», «Бог» — как не тот, чтобы физиологически руинировать человечество?.. Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, *т.е. жизни*, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу — «спасение души», то что же это, как *не рецепт décadence*? — Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, «самоотречение» — одним словом, это называлось до сих пор *моралью*... С «Утренней зарей» предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения. —

ВЕСЕЛАЯ НАУКА («LA GAYA SCIENZA»)

«Утренняя заря» есть утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. То же, но еще в большей степени, применимо и к «gaya scienza»: почти в каждой строке ее нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу, январю, который я пережил — вся книга есть его подарок, — в достаточной степени объясняют, из какой глубины «наука» стала здесь *веселой*:

Ты, что огненною пикой
Лед души моей разбил
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа светла и в здравье,
И вольна среди обуз
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус! —

Может ли тот, кто видит, как заблестала, в заключении четвертой книги, алмазная красота первых слов «Заратустры», может ли он сомневаться в том, что называется здесь «великой надеждой»? — Или тот, кто читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливаются в формулы судь-

ба *всех времен*? «Песни принца Фогельфрай», в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии «*gaia scienza*», о том единстве *певца, рыцаря и вольнодумца*, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «К мистралю», бурная танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм. —

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО

1

Теперь я расскажу историю «Заратустры». Основная концепция этого произведения, *мысль о вечном возвращении*, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, — относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. — Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу как предзнаменование, внезапною и глубоко решительную перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего «Заратустру» позволительно причислить к музыке — несомненно, возрождение искусства *слышать* было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте, близ Винченцы, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим maestro и другом Петером Гастом, тоже «возрожденным», что феникс Музыка пролетел мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, напротив, я считаю от этого дня вперед до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего

разрешения в феврале 1883 года от бремени — заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в «Предисловии», была дописана как раз в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер, — то оказывается восемнадцать месяцев беременности. Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка. — Промежуточному времени принадлежит «*gaia scienza*», которая несет сто предзнаменований близости чего-то несравнимого; наконец, она дает даже самое начало «Заратустры», она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль «Заратустры». — Этому же промежуточному времени принадлежит и тот «Гимн к жизни» (для смешанного хора и оркестра), партитура которого вышла два года тому назад у Э. В. Фрицша в Лейпциге: может быть, это — не малозначительный симптом для состояния этого года, *когда утверждающий* пафос *par excellence*, названный мною трагическим пафосом, был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. — Текст, отмечаю ясно, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, — фрейлейн Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит выражением против жизни: «Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну что ж! *у тебя есть еще твоя мука...*» Быть может, и в моей музыке в этом месте есть величие. (Последняя нота кларнета в строе *la cis*, а не *c*. Опечатка.) — Следующую затем зиму я жил

в той уютно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врзается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших: зима выдалась холодная и чрезмерно дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто лишал сна, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это и почти в доказательство моего утверждения, что все выдающееся возникает «несмотря», в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой «Заратустра». — В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зоальи, мимо сосен и глядя далеко в море; после обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эта местность и этот ландшафт сделали еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III; случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. — На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый «Заратустра», и прежде всего сам Заратустра, как тип: точнее, он *снизошел на меня...*

2

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю *великим здоровьем*. Я не могу разъяснить это понятие лучше, более лично, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги «*gaia scienza*». «Мы, новые, безымянные, труднодоступные, — говорится там, — мы, недоноски еще не

доказанного будущего, — нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального «Средиземноморья», кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, — тот прежде всего нуждается для этого в *великом здоровье* — в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, — нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир, до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя — ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще *современным человеком*? Довольно скверно: но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, по-

жалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам преподносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого *права на него*: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилom, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит *нечеловеческим*, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, — и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые *великая серьезность*, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, *начинается трагедия...*»

3

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли *инспирацией*? В противном случае я хочу это описать. — При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле,

что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится *видимым*, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная неменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в *далеко напряженном* ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Произвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и лстя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь раскрываются тебе слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бы-

тие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у тебя говорить».) Это *мой* опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт». —

4

Потом я лежал несколько недель больной в Генуе. Вслед за этим последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить, — это было нелегко. В сущности, меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на земле, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться — я хотел в *Аквилу*, понятие, противоположное Риму, основанное из вражды к Риму, как и я когда-нибудь осную место, воспоминание об атеисте и враге церкви *comme il faut*, моем ближайшем родственнике, великом императоре Гогенштауфене, Фридрихе II. Но во всем этом был рок: я должен был вернуться. В конце концов я удовлетворился *piazza Barberini*, после того как меня утомили заботы об *антихристианской* местности. Боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я справлялся даже на *palazzo del Quirinale*, нет ли там тихой комнаты для философа. В *loggia*, высоко над вышеназванной *piazza*, откуда виден Рим и слышно внизу журчание *fontana*, была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана, «Ночная песнь»; в это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах: «мертвый от бессмертия»... Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о «Заратустре», я нашел вторую его часть. Десяти дней было доста-

точно; ни на первую, ни на третью и последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашел я третью часть «Заратустры» — и был готов. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот из ландшафта Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; та решающая часть, которая носит название «О старых и новых скрижалях», была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца — ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в изобилии. *Тело* одухотворено: оставим «душу» в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять-шесть часов в пути в горах. Я хорошо спал, я много смеялся — у меня была совершенная выносливость и терпение.

5

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом *после* «Заратустры» были несравнимым бедствием.

Дорого искупается — быть бессмертным: за это умираешь не раз живьем. — Есть нечто, что называю я гансине великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, немедленно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он *слаб* теперь, он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо. Иметь *за* собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, — и иметь это теперь *на* себе!.. Это почти придавливает...

Rancune великого! — Второе, это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, но в очень различной степени испытывал и я, и почти от каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дать почувствовать дистанцию, — *благородные* натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. — Третье — это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого *творческого* действия, всякого действия, проистекающего из наиболее личного, наиболее интимного, наиболее сокровенного. *Маленькие* оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют никакого притока сил. — Я решаю еще указать, что ухудшается пищеварение, начинаешь неохотно двигаться, часто подвергаешься ознобу, также и чувству недоверия — того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, — благодаря возвращению более нежных, более человеколюбивых мыслей: в *этом* есть теплота...

6

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка

силы. Мое понятие «дионисическое» претворилось здесь в *наивысшее действие*; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты, Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, *управляющий миром* дух, рок, — поэты Веды суть только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков Заратустры; но все это есть еще минимум и не дает никакого понятия о той дистанции, о том *лазурном* одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы; я строю хребет из все более священных гор». Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: и совокупно не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше *мог*, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой природы, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из *единого* источника. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано *кем-либо* из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до «За-

ратустры»; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии сверкают в не разгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. — А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! — Здесь в каждом мгновении преодолевается человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, — в бесконечной дали лежит здесь все, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкионическом начале, о легких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всем, что вообще типично для типа Заратустры, никогда еще никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шире пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя *наивысшим проявлением всего сущего*; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного.

— душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, —

— душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, —

— душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* войти в волю и в желание, —

— убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, —

— наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свое течение и свое противотечение, свой прилив и отлив —

Но это и есть понятие самого Диониса. — Именно к нему приводит еще и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом тот, кто в неслыханной степени говорит Нет, *делает* Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним — Заратустра есть танцор, — каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, кто продумал «самую бездонную мысль», не нашел, несмотря на это, возражения против существования, даже против его вечного возвращения, — напротив, нашел еще одно основание, чтобы *самому быть* вечным утверждением всех вещей, «говорить огромное безграничное Да и Аминь»... «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение»... *Но это и есть еще раз понятие Диониса.*

7

Каким языком будет говорить подобный дух, когда ему придется говорить с самим собою? Языком *дифирамба*. Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою *перед восходом солнца*: таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Дио-

ниса все еще обращается в дифирамб; я беру в доказательство «Ночную песнь» — бессмертную жалобу того, кто из-за преизбытка света и власти, из-за своей *солнечной* природы обречен не любить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет; ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне темным и ночным! Как упивался бы я сосцами света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки, на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О алкание желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня; но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы одаренных мною — так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении, — так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство рождается из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слезы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящих!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом — для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам — так движется всякое солнце.

Как буря, несутся солнца своими путями, в этом — движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом — холод их.

О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед!
Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как родник, мое желание — желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи.
И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного. —

8

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не *страдали*: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы *Ариадна*... Кто, кроме меня, знает, что такое *Ариадна*!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех подобных загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. — Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу — это также и моя задача, — так что нельзя ошибиться в *смысле*: он есть *утверждающий* вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, — того будущего, что вижу я.

И в том мое творчество и стремление, чтобы собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спаси тех, кто миновали, и преобразить всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы избавлением.

В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него «человек» — ни предметом любви, ни даже предметом сострадания, — и над *великим отвращением* к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще ваятеля.

Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы созидать, если бы боги — существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь — до богов!..

* * *

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчеркнутая строфа дает доступ к ней. Для *дионисической* задачи твердость молота, *радость даже при уничтожении*, принадлежит решительным образом к предварительным условиям. Императив: «станьте тверды!», самая глубокая уверенность в том, что все *созидающие тверды*, есть истинный отличительный признак дионисической природы.

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА ПРЕЛЮДИЯ К ФИЛОСОФИИ БУДУЩЕГО

1

Задача для воспоследовавших затем лет была предначертана со всей возможной строгостью. После того как утверждающая часть моей задачи была разрешена, настала очередь негативной, *негактивной* (neintuende) половины: переоценка бывших до сего времени ценностей, великая война — заклинание решающего дня. Сюда относится и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из силы протянули бы мне руку *для разрушения*. — С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле?.. Если ничего *не ловилось*, то это не моя вина. *Не было рыбы...*

2

Эта книга (1886) во всем существенном есть *критики современности*, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, наряду с указаниями, отсылающими к противоположному типу, который отмечен решительным минимумом современности, к благородному, утвер-

ждающему типу. В этом последнем смысле книга представляет собою *школу gentilhomme*, беря названное понятие более духовно и *более радикально*, чем его брали когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы выдержать его, нужно не знать страха... Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например знаменитая «объективность», «сочувствие ко всему страждущему», «историческое чувство» с его раболепством перед чужим вкусом, с его ползанием на животе перед *petits faits*, «научность». — Если вспомнить, что эта книга следует за «Заратустрой», то легко угадать тот диететический *régime*, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищной принудительностью быть *дальнозорким* — Заратустра дальновиднее самого царя, — вынужден здесь остро схватывать ближайшее, время, *обстание*. Во всех отношениях, и прежде всего в форме, легко найти как бы *добровольный* разрыв с теми инстинктами, из которых стал возможным «Заратустра». Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве *молчать* стоит здесь на переднем плане, психология трактуется с намеренной твердостью и жестокостью — книга отклоняет всякое добродушное слово... На всем этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как «Заратустра»?.. Говоря теологически — пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, — сам Бог улегся в конце своего трудового дня, подобно змее, под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сотворил все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ

ПОЛЕМИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, быть может, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять есть самое зловещее, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, есть также бог мрака. — Каждый раз начало, которое *должно* вводить в заблуждение, — холодное, научное, даже ироническое, нарочито выпирающее, нарочито останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства; местами молнии; очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, — пока наконец не достигается tempo feroce, где все мчится вперед с чудовищным напряжением. В конце, каждый раз, среди поистине ужасных раскатов, *новая* истина становится видимой среди густых туч. — Истина *первого* рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа ressentiment, а не из «духа», как часто думают, — по существу, движение назад, великое восстание против господства *аристократических* ценностей. *Второе* рассмотрение дает психологию *совести*: она *не* есть «голос Бога в человеке», как часто думают, — она есть инстинкт жестокости, обра-

щенный назад, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых и самых неустрашимых оснований культуры. *Третье* рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда происходит чудовищная *власть* аскетического идеала, идеала священника, несмотря на то что он есть идеал *вредный* par excellence, воля к гибели, идеал *décadence*. Ответ: *не* потому, что Бог действует за спиною священников, как обыкновенно думают, а *faute de mieux* — потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. «Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть»... Прежде всего недоставало *противоидеала* — *вплоть до «Заратустры»*. — Меня поняли. Здесь три решающие предварительные работы психолога для переоценки всех ценностей. — Эта книга содержит первую психологию священника.

СУМЕРКИ ИДОЛОВ КАК ФИЛОСОФСТВУЮТ МОЛОТОМ

1

Это сочинение менее чем в 150 страниц, веселое и зловещее по тону, демон, который смеется, — произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, — является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего — более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня все стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется *идолом* на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. «Сумерки идолов» — по-немецки: старая истина приходит к концу...

2

Нет ни одной реальности, ни одной «идеальности», которая в этом сочинении не была бы затронута (затронута: какой осторожный эвфемизм!..). Не только *вечные* идолы, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. «Современные идеи, например. Великий ветер проносится между деревьями, и всюду падают плоды — истины. В этом расточительность

слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые из них даже придавлены насмерть — до того их много... Но то, что остается в руках, это уже не проблематичное, это уже решения. У меня впервые в руках масштаб для «истин», я впервые *могу* решать. Как если бы во мне выросло *второе сознание*, как если бы «воля» зажгла во мне свет для себя над *кривою* тропой, по которой она до сих пор спускалась вниз... *Кривая* тропа — ее называли путем к «истине»... Кончилось всякое «темное стремление», именно *добрый* человек меньше всего смыслил в настоящем пути... И, говоря вполне серьезно, никто до меня не знал настоящего пути, пути *вверх*: только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры, — *я их благодный вестник*. Именно поэтому я являюсь я роком...

3

Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня приступил я к чудовищной задаче «Переоценки», с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая свое бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне Верхний Энгадин, — прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и нюансы между льдом и Югом. — Лишь 20 сентября покинул я Сильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного

места, которому благодарность моя приносит в дар бессмертное имя. После путешествия, полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою Комо, которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл 21-го днем в Турин, мое *доказанное* место, мою резиденцию отныне. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весной, на *via Carlo Alberto*, 6, III против колоссального *palazzo Carignano*, где родился *Vittorio Emanuele*, с видом на *piazza Carlo Alberto* и за ним далее на страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе: оставалось еще написать последнюю четверть произведения. 30 сентября день великой победы; седьмой день; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я еще *предисловие* к «Сумеркам идолов», корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. — Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на земле — Клод Лоррен, продуманный в бесконечное, каждый день — день равного беспредельного совершенства. —

КАЗУС ВАГНЕР

ПРОБЛЕМА МУЗЫКАНТА

1

Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки как от открытой раны. *Отчего* страдаю я, страдая от судьбы музыки? — Оттого, что музыка лишена своего миропроставляющего, утверждающего характера, — оттого, что она сделалась музыкой *décadence* и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки *собственное* дело, историю *собственных* страданий, то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким. Быть веселым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя — *ridendo dicere severum*, — где *verum dicere**, оправдало бы всякую суровость, — это сама гуманность. Кто, собственно, сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера мое *тяжелое* орудие? — Все решительное в этом деле я оставил при себе — я любил Вагнера. — Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого «незнакомца», которого другой не легко разгада-

* Смеясь, говорить горькие вещи (*лат.*).

ет — о, мне предстоит открыть еще совсем иных «незнакомцев», чем какого-то Калиостро музыки, — и, конечно же, более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся *почтенной* немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает «веру» вместе с научностью, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, волю к власти (к «Империи») вместе с *évangile des humbles...* Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это «бескорыстие»! Этот здравый смысл немецкого *нёба*, которое всему дает равные права, — которое всё находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашел немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубочу из Экингена; я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мастера *Генриха Шютца*, был основан ферейн Листа с целью развития и распространения *извилистой* церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты...

2

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жестких истин: *кто сделает это кроме меня?* — Я говорю об их непристойности *in historicis*. Немецкие историки не только утратили *широкий взгляд* на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики (или цер-

кви): они даже *подвергают остракизму* этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях *in historicis* — устанавливать их... «Немецкое» есть аргумент, «Deutschland, Deutschland über alles» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории; по отношению к *imperium Romanum* — носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию — реставраторы морали, «категорического императива»... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, — существует *придворная* историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве «истины», обошло все немецкие газеты идиотское мнение *in historicis*, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым *должен-де согласиться* всякий немец: «Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое — эстетическое возрождение и нравственное возрождение». — При таких тезисах мое терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность — сказать наконец немцам, *что* у них уже лежит на совести. *Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!..* И всегда по одной причине: из-за их глубокой *трусости* перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней *великой* эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнеутверждающие и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, *ценностей упадка*, —

и вплоть до инстинктов тех, кто там находился! Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в тот момент, *когда оно было побеждено...* Христианство, это ставшее религией *отрицание воли к жизни...* Лютер, невозможный монах, который по причине своей «невозможности» напал на церковь и — следовательно! — восстановил ее... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер — и «нравственное возрождение»! К черту всю психологию! — Без сомнения, немцы — идеалисты. — Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому «идеалу», к примирению между истиной и «идеалом», в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право *лжи*. Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! — Наконец, когда на мосту между двумя столетиями *décadence* явилась *force majeure** гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и *экономическое* единство, в целях управления землей, немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, — оттого-то все, что пришло после, что существует теперь, — лежит у них на совести: эта самая *враждебная культуре* болезнь и безумие, какие только возможны, — национализм, эта *névrose nationale*, которой больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, *маленькой* политики: они лишили самое Европу ее смысла, *ее разума* — они завели ее в ту-

* высшая сила (*фр.*).

пик. — Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая — снова *связать* народы?..

3

И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. — Ах, как хочется мне быть здесь *плохим* пророком!.. Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, — будет ли их постоянно все больше? — Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только «бессознательных» фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу; все они только шлейермахеры): они никогда не дождутся чести, чтобы первый *правдивый* ум в истории мысли, ум, в котором истина пронесит свой суд над подделкой монет в течение четырех тысячелетий, был отождествлен с немецким духом. «Немецкий дух» — это *мой* дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности *in psychologicis*, которую выдает каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, — какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, — у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для

чистоплотности или *нечистоплотности* расы... И если нет чистоплотности, как может быть *глубина*! У немца, как у женщины, не добраться до основания, *он лишен его*: вот и все. Но при этом нельзя быть даже плоским. — То, что в Германии называется «глубоким», есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: нет никакого *желания* разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения *этой* психологической испорченности? — В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим «христианским долгом» освобождение рабов в Африке: среди нас, *других* европейцев, это называлось бы просто «немецким» долгом... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учеными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...

4

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев *par excellence*, принадлежит даже к моей гордости. Свое *недоверие* к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (третье «Несвоевременное») — немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чем я «испытываю утробу» человека, — вопрос: есть

ли у него в теле чувство дистанции, видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком, *умеет ли он различать*: этим отличается gentilhomme; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию canaille. Но немцы и есть canaille — ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: *немец становится на равную ногу*... За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и ее непрекрасная душа по крайней мере также принимается в расчет... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для nuances — горе мне! я есть nuance, — у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости — они не *стыдятся* даже быть только немцами... Они говорят обо всем, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение... Вся моя жизнь есть доказательство de figureur для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, délicatesse в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы — никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен, — у меня есть *право* на то, чтобы не делать различий, — это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей, — я на-

деюсь в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. — Несмотря на это, остается верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя *изучением* хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего «Заратустры», то кто из моих друзей увидел бы в нем больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность?.. Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить мое имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено; лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и *смелости* и возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим еще раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? — Я сам никогда не страдал из-за всего этого; *необходимое* не оскорбляет меня; *amor fati* есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией «Переоценки», которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир «Казус Вагнер»: пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и *увекочечат* себя! для этого как раз есть еще время! — Достигнуто ли это? — Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...

ПОЧЕМУ ЯВЛЯЮСЬ Я РОКОМ

1

Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. — И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии — всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не *хочу* «верующих», я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя, я никогда не говорю к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь *святым*; вы угадаете, почему я *наперед* выпускаю эту книгу: она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия... Я не *хочу* быть святым, скорее шутком... Может быть, я и *есмь* шут... И не смотря на это или, скорее, несмотря на это — ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, — устами моими глаголет истина. — Но моя истина *ужасна*: ибо до сих пор *ложь* называлась истиной. — *Переоценка всех ценностей* — это моя формула для акта наивысшего самосознания челове-

ства, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым *приличным* человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину через то, что я первый ощутил — *вынюхал* — ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрах... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я *благостный вестник*, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор неоставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всем том я по необходимости человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух — они покоятся все на лжи: будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле *большая политика*. —

2

Вы хотите формулы для такой судьбы, *которая становится человеком?* — Она проставлена в моем «Заратустре».

— *и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.*

Так принадлежит высшее зло к высшему благу, а это благо есть творческое.

Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает того,

что я буду самым благодетельным. Я знаю радость *уничтожения* в степени, соразмерной моей *силе* уничтожения — в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения. Я первый *имморалист*: поэтому я *истребитель* par excellence. —

3

Меня не спрашивали, меня должны были бы спросить, что, собственно, означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя *Заратустры*: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей — перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть *его* дело. Но этот вопрос был бы, в сущности, уже и ответом. Заратустра *создал* это роковое заблуждение, мораль: следовательно, он должен быть первым, кто *познает* его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель; вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о «нравственном миропорядке», — гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью — это значит, противоположностью *трусости* «идеалиста», который обращается в бегство перед реальностью; у Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей, вместе взятых. Говорить правду и *хорошо стрелять из лука* — такова персидская добродетель. Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из

правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность — *в меня* — это и означает в моих устах имя Заратустры.

4

В сущности, в моем слове *имморалист* заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, — *добрых, доброжелательных, благодетельных*, я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства, — мораль *décadence*, говоря осязательнее, *христианскую* мораль. Можно на второе отрицание смотреть как на более решительное отрицание, ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие *décadence*, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и *уничтожение* суть условия. — Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение, — надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть *ложь*: выражаясь иначе, *нежелание* видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность; я хочу сказать, она *не* такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на *бедствия* всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит *уничтожению*, есть *piaiserie par excellence*, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глу-

пость, — почти столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду, — из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта; надо быть очень снисходительным, чтобы последней — ибо она обусловлена инстинктом лживости — уделять вообще место. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно зловещие последствия *оптимизма*, этого исчадия *homines optimi*, для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же *décadent*, как и пессимист, и, пожалуй, еще более вредный; он говорит: *«Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания»*. К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы всякий «добрый человек», всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, «прекраснодушно», или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. — *И это пытались сделать!.. Именно это называлось моралью...* В этом смысле именуется Заратустра добрых то «последними людьми», то «началом конца»; прежде всего он понимает их как *самый вредный род людей*, ибо они отстаивают свое существование за счет *истины*, равно как и за счет *будущего*.

* * *

Ибо добрые — не могут *созидать*: они всегда начало конца —

— они распинают того, кто пишет *новые* ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее — они распинают все человеческое будущее!

— Добрые — были всегда началом конца...

— И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, — *вред добрых самый вредный вред*.

5

Заратустра, первый психолог добрых, есть — следовательно — друг злых. Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счет противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведен на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом «истина», тогда все действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений; он говорит: познание добрых, «лучших» было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из *этого* отвращения выросли у него крылья, чтобы «улететь в далекое будущее», — он не скрывает, что *его* тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он именно в отношении *добрых*, добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека *дьяволом*...

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы *страшен* в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, *как она есть*: он достаточно силен для этого — он не отчужден, не отдален от нее, он и есть *сама реальность*, он носит в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, *только при этом условии в человеке может быть величие...*

6

Но еще и в другом смысле я избрал для себя слово *имморалист*, как мой отличительный знак, как мой почетный знак; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал христианскую мораль *ниже* себя: для этого нужна была высота, взгляд вдаль, до сих пор еще совершенно неслыханная психологическая глубина и бездомная пропасть. Христианская мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей — они были у нее в услужении. — Кто до меня спускался в пещеры, откуда несется кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала — *клеветы на мир*? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? Кто вообще до меня был среди философов *психологом*, а не его противоположностью, «мошенником более высокого порядка», «идеалистом»? До меня еще не было никакой психологии. — Здесь быть первым может оказаться проклятием, во всяком случае это рок: *ибо и презираешь, как первый... Отвращение к человеку есть моя опасность...*

Поняли ли меня? — Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я *открыл* сущность христианской морали. Поэтому я нуждался в слове, которое имело бы значение вызова всем. Что здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, самообманом, обращенным в инстинкт, принципиальной волей *не* видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in psychologisis, доведенной до преступления. Слепота перед христианством есть *преступление par excellence* — преступление *против жизни...* Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы — за исключением пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, — все стоят друг друга в этом отношении. Христианин был до сих пор «моральным существом», *curiosum* вне сравнения, а *как* «моральное существо» был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и *более вредным самому себе*, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирующих человечество. Христианская мораль — самая злостная форма воли ко лжи, истинная Цирцея человечества: то, что его *испортило*. *Не* заблуждение как заблуждение возмущает меня в этом зрелище, — *не* тысячелетнее отсутствие «доброй воли», дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе: меня возмущает отсутствие естественности, тот совершенно невероятный факт, что сама *противоестественность* получила, как мораль, самые высокие почести, осталась висеть над человечеством как закон, как категорический импе-

ратив!.. В такой мере ошибаться, *не* как отдельный человек, *не* как народ, но как человечество!.. Учили презирать самопервейшие инстинкты жизни; *выдумали* «душу», «дух», чтобы посрамить тело; в условиях жизни, в половой любви, учили переживать нечто нечистое; в глубочайшей необходимости для развития, в *суровом* эгоизме (уже одно это слово было хулою!), искали злого начала; и напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в «бескорыстии», в утрате равновесия, в «обезличивании» и «любви к ближнему» (одержимости ближним!) видели высочайшую ценность, что говорю я! — *ценность как таковую!*.. Как! значит, само человечество в *décadence*? и было ли оно в нем всегда? — Что твердо установлено, так это только то, что *его учили* лишь ценностям декаданса, как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка *par excellence*, факт «я погибаю» перемещен здесь в императив: «вы все *должны* погибнуть» — и *не только* в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, избличает волю к концу, она *отрицает* жизнь в глубочайших основаниях. — Здесь остается открытой возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, *священников*, которые благодаря морали долгались до звания определителей его ценностей, которые угадали в христианской морали свое средство к власти... И на самом деле, *мое* мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и *décadents*: *отсюда* переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, *отсюда* мораль... *Определение морали*: мораль — это идиосинкразия *décadents*, с задней мыслью *отомстить жизни* — и с успехом. Я придаю ценность *этому* определению.

Поняли ли меня? — Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. — *Открытие* христианской морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто ее разъясняет, тот forse majeure, рок, — он разбивает историю человечества на две части. Живут *до* него, живут *после* него... Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего; кто понимает, *что* здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось «истиной», признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи; святой предлог «улучшить» человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы *высосать* самое жизнь, сделать ее малокровной. Мораль как *вампиризм*... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных *святыми* типах человека, он видит в них самый роковой вид уродов, *ибо они очаровывали*... Понятие «Бог» выдуманно как противоположность понятию жизни — в нем все вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство! Понятие «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить *единственный* мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности! Понятия «душа», «дух», в конце концов даже «бессмертная душа» выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным — «святым», чтобы всему, что

в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья «спасение души» — другими словами, *folie circulaire*, начиная с судорог покаяния до истерии искупления! Понятие «греха» выдуманно вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием «свободной воли», чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой! В понятии человека «бескорыстного», «самоотрекающегося» истинный признак *décadence*, *податливость* всему вредному, неумение найти свою пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в «долг», «святость», «божественность» в человеке! Наконец — и это самое ужасное — в понятие *доброто* человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя, все, *что должно погибнуть*, — нарушен закон *отбора*, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее — он называется отныне *злым*... И всему этому верили *как морали*! — *Ecrasez l'infâme!* —

9

— Поняли ли меня? — *Дионис против Распятого*...

СУМЕРКИ ИДОЛОВ,
или
Как философствуют молотом

Предисловие

Сохранять веселость в мрачном и чрезмерно ответственном деле не малый фокус; а что же тут нужнее веселости? Ни одна вещь не удастся, если в ней не принимает участия задор. Излишек силы только и есть доказательство силы. — *Переоценка всех ценностей*, этот вопросительный знак, столь черный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит, — такая роковая задача вынуждает каждое мгновение выбегать на солнце стряхивать с себя ставшую тяжелой, слишком тяжелой серьезность. Тут хорошо всякое средство, тут всякий «случай» — счастливый случай. Прежде всего *война*. Война была всегда великим благоразумием слишком ушедших в себя, ставших слишком глубокими умов; даже полученная рана заключает в себе целебную силу. Изречение, происхождение которого я утаю от ученого любопытства, было издавна моей любимой поговоркой:

inrescunt animi, virescit volnere virtus*.

Другое выздоравливание, при случае более желательное для меня, есть *выслеживание идолов*... В мире

* уши крепнут, доблесть расцветает от раны (лат.).

больше идолов, чем реальностей: это *мой* «злой взгляд» на этот мир, это также мое «злое ухо»... Тут задавать вопросы *молотом* и, быть может, услышать в ответ тот знаменитый глухой тон, который говорит о вспученных внутренностях, — какой это восторг для человека, имеющего за ушами еще уши, — для меня, старого психолога и крысолова, перед которым *должно звучать* то именно, что хотело бы пребывать в безмолвии...

Также и настоящее сочинение — заглавие выдает это — есть прежде всего отдых, солнечное пятно, прыжок в сторону, в праздность психолога. Быть может, также новая война? И будут выслежены новые идола?.. Это маленькое сочинение есть *великое обьявление войны*; что же касается выслеживания идолов, то на сей раз это не временные, а *вечные* идола, к которым я здесь прикасаюсь молотом, как камертоном, — не существует вообще более старых, более уверенных, более надутых идолов... А также более пустых... Это не препятствует тому, что в них *больше всего верят*; да и говорят, особенно в важнейшем случае, отнюдь не идола...

Фридрих Ницше
Турин, 30 сентября 1888,
в день, когда была окончена первая книга
«Переоценки всех ценностей»

ИЗРЕЧЕНИЯ И СТРЕЛЫ

1

Праздность есть мать всей психологии. Как? разве психология — порок?

2

И самый мужественный из нас лишь редко обладает мужеством на то, что он, собственно, *знает*...

3

Чтобы жить в одиночестве, надо быть животным или богом, говорит Аристотель. Не хватает третьего случая: надо быть и тем и другим — *философом*...

4

«Всякая истина однозначна». — Не двужначно ли это ложь? —

5

Я хочу раз навсегда *не* знать многого. — Мудрость полагает границы также и познанию.

6

В своем диком естестве отдыхаешь лучше всего от своей неестественности, от своей духовности...

7

Как? разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека? —

8

Из военной школы жизни. — Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

9

Помогай себе сам: тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему.

10

Не надо проявлять трусости по отношению к своим поступкам! не надо вслед за тем бежать от них! — Угрызения совести неприличны.

11

Может ли *осел* быть трагичным? — Что гибнешь под тяжестью, которой не можешь ни нести, ни сбросить?.. Случай философа.

12

Если имеешь свое *почему!* жизни, то миришься почти со всяким как? — Человек стремится не к счастью; только англичанин делает это.

13

Мужчина создал женщину — но из чего? Из ребра ее бога — ее «идеала»...

14

Что? ты ищешь? ты хотел бы удесятерить себя, увеличить во сто раз? ты ищешь приверженцев? — Ищи *нулей!* —

15

Посмертных людей — меня, например, — хуже понимают, чем современных, но лучше *слушают*. Говоря точнее: нас никогда не поймут — и *отсюда* наш авторитет...

16

Среди женщин. — «Истина? О, вы не знаете истины! Разве она не покушение на все наши *rideurs**?» —

* стыдливости (*фр.*).

17

Вот художник, каких я люблю, скромный в своих потребностях: он хочет собственно только двух вещей, своего хлеба и своего искусства, — *panem et Circen**...

18

Кто не умеет влагать в вещи своей воли, тот по крайней мере все же влагает в них *смысл*: т.е. он полагает, что в них уже есть воля (Принцип «веры»).

19

Как? вы выбрали добродетель и возвышенные чувства, а вместе с тем коситесь на барыши людей бесцеремонных? — Но, выбрав добродетель, *отказываются* этим от «барышей»... (на входную дверь антисемиту).

20

Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для опыта, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и *чтобы* это кто-нибудь заметил...

21

Становиться исключительно в такие положения, когда нельзя иметь кажущихся добродетелей, когда,

* хлеба и Цирцеи (*лат.*).

напротив, как канатный плясун на своем канате, либо падаешь, либо стоишь — либо благополучно отделываешься...

22

«У злых людей нет песен». — Отчего же у русских есть песни?

23

«Немецкий ум»: уже восемнадцать лет *contradictio in adjecto**.

24

Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять; в конце концов он и *верит* тоже вспять.

25

Довольство предохраняет даже от простуды. Разве когда-нибудь простудилась женщина, умевшая хорошо одеться? — Предполагаю случай, что она была едва одета.

26

Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.

* То есть с 1871 г. — года образования Империи.

27

Женщину считают глубокой — почему? потому что у нее никогда не достанешь дна. Женщина даже и не мелка.

28

Если женщина имеет мужские добродетели, то от нее нужно бежать; если же она не имеет мужских добродетелей, то бежит сама.

29

«Как много приходилось некогда кусать совести! Какие хорошие зубы были у нее! — А нынче? чего не хватает?» — Вопрос зубного врача.

30

Люди редко совершают одну неосмотрительность. В первой неосмотрительности всегда делают слишком много. Именно поэтому совершают обыкновенно еще вторую — и на этот раз делают слишком мало...

31

Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: *смирение*. —

32

Есть ненависть ко лжи и притворству, вытекающая из чувствительности в вопросах чести; есть такая же ненависть, вытекающая из трусости, поскольку ложь *запрещена* божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать...

33

Как мало нужно для счастья! Звук волынки. — Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распеваящим песни.

34

On ne peut penser et écrire qu'assis* (Г. Флобер). — Вот я и поймал тебя, нигилист! Усидчивость есть как раз *грех* против духа святого. Только *выложенные* мысли имеют ценность.

35

Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям, мы, психологи, и впадаем в беспокойство: мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Психолог должен не обращать на *себя* внимания, чтобы вообще видеть.

36

Наносим ли мы, имморалисты, *вред* добродетели? — Так же мало, как анархисты царям. Только

* Думать и писать можно только сидя (*фр.*).

с тех пор, как их начали подстреливать, они вновь прочно сидят на своем троне. Мораль: *нужно подстреливать мораль.*

37

Ты бежишь *вперед*? — Делаешь ты это как пастух? или как исключение? Третьим случаем был бы беглец... *Первый* вопрос совести.

38

Настоящий ли ты? или только актер? Заместитель или само замещенное? — В конце концов ты, может быть, просто поддельный актер... *Второй* вопрос совести.

39

Разочарованный говорит. — Я искал великих людей, а находил всегда лишь обезьян их идеала.

40

Из тех ли ты, кто смотрит как зритель? или кто участвует? — или кто не обращает внимания, идет стороной?.. *Третий* вопрос совести.

41

Хочешь ты сопутствовать? или предшествовать? или идти сам по себе?.. Надо знать, *чего* хочешь и хочешь ли. *Четвертый* вопрос совести.

42

Это были ступени для меня, я поднялся выше их, — для этого я должен был пройти по ним. Они же думали, что я хотел сесть на них для отдыха...

43

Что в том, что я остаюсь правым! Я слишком прав. — А кто нынче смеется лучше всего, тот будет также смеяться и последним.

44

Формула моего счастья: Да, Нет, прямая линия, *цель...*

ПРОБЛЕМА СОКРАТА

1

О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: *она не стоит ничего...* Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь — речь, полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить — это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха». Даже Сократу она надоела. — Что *доказывает* это? На что *указывает* это? — В прежнее время сказали бы (— о, это говорили, и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты!): «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть истинным! Consensus sapientium доказывает истину». — Будем ли мы и нынче так говорить? *сеем* ли мы это? «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть *больным*», — ответим *мы*: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи! Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися? *décadents*? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..

Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы суть *типы упадка*, пришла в голову при рассмотрении того случая, где ей сильнее всего противоборствует ученый и неученый предрассудок: я опознал Сократа и Платона как симптомы гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков («Рождение трагедии», 1872). Упомянутый выше *consensus sapientium* — я понимал это все более и более — менее всего доказывает, что они были правы в том, в чем гармонировали: он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чем гармонировали *физиологически*, чтобы относиться в равной мере отрицательно к жизни, — чтобы быть *вынужденными* так относиться к ней. Суждения о ценности жизни, «за» или «против», в конце концов никогда не могут быть истинными: они имеют ценность лишь как симптомы, они принимаются в соображение лишь как симптомы, — сами по себе такие суждения являются глупостями. Надо непременно протянуть к ним свои пальцы и попытаться ухватить ту изумительную *finesse*, что *ценность жизни не может быть установлена*. Живым — нет, потому что таковой является стороною, даже объектом спора, а не судьей. Мертвым — нет, по другой причине. — Со стороны философа видеть проблему в *ценности* жизни является таким образом даже возражением против него, вопросительным знаком около его мудрости, неразумием. — Как? а все эти великие мудрецы — разве они были не только *décadents*, разве они даже не были мудрыми? — Но я возвращаюсь к проблеме Сократа.

3

Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Безобразие является довольно часто выражением скрещенного, *заторможенного* скрещением развития. В другом случае оно является *нисходящим* развитием. Антропологи среди криминалистов говорят нам, что типичный преступник безобразен: *monstrum in fronte, monstrum in animo**. Но преступник есть *décadent*. Был ли Сократ типичным преступником? — По крайней мере этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое казалось таким обидным друзьям Сократа. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал в лицо Сократу, что он *monstrum*, — что он таит в себе все дурные пороки и похоти. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, милостивый государь!» —

4

На *décadence* указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также суперфётация логического и характеризующая его *злоба рахитика*. Не забудем и о тех галлюцинациях слуха, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демония Сократа». Все в нем преувеличено, *buffo*, карикатура, все вместе с тем отличается скрытностью, задней мыслью, под-

* чудовище по виду, чудовище в душе (*лат.*).

земностью. — Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократическое уравнение: разум = добродетели = счастью — это причудливейшее из всех существующих уравнений, которому в особенности противоречат все инстинкты более древних эллинов.

5

С появлением Сократа греческий вкус изменяется в благоприятную для диалектики сторону; что же происходит тут в сущности? Прежде всего этим побеждается *аристократический* вкус; чернь всплывает наверх с диалектикой. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. От них предостерегали юношество. Также не доверяли всякому такому предъявлению своих доводов. Благопристойные вещи, как и благопристойные люди, не носят своих доводов так прямо в руках. Неприлично показывать все пять пальцев. Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута: над ним смеются, к нему не относятся серьезно. — Сократ был шутом, *возбуждившим серьезное отношение* к себе: что же случилось тут, собственно? —

6

Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так

легко не изглаживается, как эффект диалектика: опыт каждого собрания, где говорят речи, доказывает это. Она может быть лишь *необходимой самообороной* в руках людей, не имеющих уже никакого иного оружия. Надо *вынуждать* признание своего права: до этого ее ни во что нельзя употребить. Евреи были поэтому диалектиками; Рейнеке-Лис был им; как? и Сократ был им также? —

7

— Есть ли ирония Сократа проявление бунта? *ressentiment* черни? наслаждался ли он, как угнетенный, своей собственной кровожадностью в ударах ножа силлогизма? *мстит* ли он знатным, которых очаровывает? В качестве диалектика имеешь в руках беспощадное орудие; с ним можно стать тираном; побеждая, компрометируешь. Диалектик предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот: он приводит в бешенство, он вместе с тем делает беспомощным. Диалектик *депотенцирует* интеллект своего противника. — Как? разве диалектика является только формой *мести* у Сократа?

8

Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ; тем более надо объяснить то обстоятельство, что он очаровывал. — Что он открыл нового вида агон*, что он был первым учителем фехтования в этой области для знатных афинских кругов, — это раз. Он очаровывал, затрагивая атональный инстинкт эллинов, — он внес

* публичное состязание (*гр.*).

вариант в ристалищную борьбу между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был также великим эротиком.

9

Но Сократ отгадал еще больше. Он видел кое-что за *спиной* своих знатных афинян; он понимал, что *его* случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготавливалось всюду в тиши: старым Афинам приходил конец. — И Сократ понимал, что все *нуждаются* в нем — в его средстве, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения... Повсюду инстинкты находились в анархии; повсюду были в пяти шагах от эксцесса: *monstrum in amino* было всеобщей опасностью. «Инстинкты хотят стать тираном; нужно изобрести *противотирана*, который был бы сильнее»... Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник проронил еще одно слово, дающее ключ к нему. «Это правда, — сказал он, — но я стал господином над всеми». *Как* сделался Сократ господином над *собой!* — Его случай был, в сущности, лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием: что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг *против* друга. Он очаровывал, как этот крайний случай, — его возбуждающее ужас безобразие говорило о нем каждому глазу: он очаровывал, само собою разумеется, еще сильнее как ответ, как решение, как кажущееся *врачевание* этого случая. —

10

Если потребно сделать *из разума* тирана, как это сделал Сократ, то не мала должна быть опасность, что нечто иное сделается тираном. В разумности тогда угадали *спасительницу*; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными — это было *de rigueur**, это было *их последнее* средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был только *один* выбор: или погибнуть, или — быть *абсурдно-разумными*... Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически; равным образом и их оценка диалектики. Разум = добродетели = счастью — это значит просто: надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений *неугасимый свет* — свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведет *вниз*...

11

Я дал понять, чем очаровывал Сократ: он казался врачом, спасителем. Нужно ли еще указывать на заблуждение, заключавшееся в его вере в «разумность во что бы то ни стало»? — Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из *décadence*, что объявляют ему войну. Выйти из него — выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением *décadence* — они *изменяют* его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразу-

* необходимо (*фр.*).

мением; *вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением...* Самый яркий свет разумности во что бы то ни стало, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам, была сама лишь болезнью, иной болезнью — а вовсе не возвращением к «добродетели», к «здоровью», к счастью... Быть *вынужденным* побеждать инстинкты — это формула для *décadence*: пока жизнь *восходит*, счастье равно инстинкту. —

12

— Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под *конец мудростью* своего мужества перед смертью?.. Сократ *хотел* умереть: не Афины, *он* дал себе чашу с ядом, он вынудил Афины дать ему ее... «Сократ не врач, — тихо сказал он себе, — одна смерть здесь врач... Сократ сам был только долго болен...»

«РАЗУМ» В ФИЛОСОФИИ

1

Вы спрашиваете меня, что же является идиосинкразией у философов?.. Например, отсутствие у них исторического чувства, их ненависть к самому представлению становления, их египтизм. Они воображают, что делают *честь* какой-нибудь вещи, если деисторизируют ее, *sub specie aeterni*, — если делают из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий; ничто действительное не вышло живым из их рук. Они убивают, они бальзамируют, эти господа-идолопоклонники понятий, когда поклоняются, — они становятся опасными для жизни всего, когда поклоняются. Смерть, изменение, старость, так же как зарождение и рост, являются для них возражениями — даже опровержениями. Что есть, то не *становится*; что становится, то не *есть*... И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как они не могут его ухватить, то ищут причин, почему им не дают его. «Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего: где же скрывается обманщик?» — «Мы нашли его, — кричат они радостно, — это чувственность! Эти чувства, *которые и во-*

обще-то так безнравственны, обманывают нас относительно истинного мира. Мораль: освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи, — история есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отрицать все, что верит чувствам, все остальное человечество — все это «толпа». Быть философом, быть мумией, изображать монотонотеизм мимикой могильщиков! — И прежде всего прочь тело, эту достойную сожаления idée fixe чувств! одержимое всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя оно достаточно нагло для того, чтобы изображать из себя нечто действительное!..»

2

Я с глубоким почтением исключаю имя *Гераклита*. Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние говорили о множественности и изменении, то он отвергал их свидетельство, потому что они показывали, будто вещи обладают постоянством и единством. Гераклит также был несправедлив к чувствам. Они не лгут ни так, как полагали элеаты, ни так, как полагал он, — они вообще не лгут. Впервые то, что мы *делаем* из их свидетельства, влагает в них ложь, например ложь единства, ложь вечности, субстанции, постоянства... «Разум» является причиной того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства говорят о становлении, об исчезновении, о перемене, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. «Кажущийся» мир есть единственный: «истинный мир» только *прилган к нему*...

3

— И какие тонкие орудия наблюдения имеем мы в наших чувствах! Этот нос, например, о котором еще ни один философ не говорил с уважением и благодарностью, является между тем даже самым деликатным инструментом из находящихся в нашем распоряжении: он может еще констатировать минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились *принимать* свидетельство чувств, — поскольку мы научились еще изошрять их, вооружать, продумывать до конца. Остальное — недоноски и еще-не-наука: имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. Или формальную науку, учение о знаках: как логика и та прикладная логика, математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы; так же как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика. —

4

Другая идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале *как* таковом то, что появляется в конце, — жаль! ибо оно не должно бы появиться вовсе! — «высшие понятия», т.е. самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться: высшее не *должно* произрастать из низшего, не *должно* вообще произрастать... Мораль: все, что первого ранга, должно быть *causa sui*. Происхождение из чего-нибудь другого считается воз-

ражением, усомнением в ценности. Все высшие ценности суть первого ранга, все высшие понятия: сущее, безусловное, доброе, истинное, совершенное — все это не может произойти, следовательно, *должно* быть *causa sui*. Но все это не может быть также неравным одно другому, не может быть в противоречии с собою... Вот у них и готово их необычное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как *ens realissimum**... Чтобы человечество вынуждено было серьезно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей! — И оно дорого заплатило за это!..

5

— Противопоставим же наконец этому, насколько иначе смотрим *мы* (я говорю из учтивости *мы*...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, становление вообще доказательством кажимости, признаком того, что тут должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим ровно настолько, насколько предрассудок разума принуждает нас применять единство, идентичность, постоянство, субстанцию, причину, вещьность, бытие, некоторым образом впутывает нас в заблуждение, *приневоливает* к заблуждению; как ни уверены мы на основании строгой проверки счета в том, что тут заблуждение. Дело с этим обстоит так же, как с движением солнца: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь — наш язык. Язык, по его возникновению, относится ко времени

* всереальнейшее существо (*лат.*).

рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, если вводим в наше сознание основные предположения метафизики языка, по-немецки — *разума*. Оно видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я», в Я как бытие, в Я как субстанцию и *проецирует* веру в субстанцию — Я на все вещи — оно *создаст* впервые этим понятие «вещь»... Бытие вмысливается, *подсовывается* всюду; из концепции «Я» вытекает впервые, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто *действующее* — что воля есть *способность*... Нынче мы знаем, что она — только слово... Гораздо позже среди в тысячу раз более просвещенного мира в сознание философов неожиданно проникла *уверенность*, субъективная *достоверность* в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вытекать из эмпирии — ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. *Откуда же вытекают они!* — И в Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире (вместо того, чтобы сказать — *в гораздо более низшем*: что было бы истиной!), мы должны были быть божественными, *ибо* мы имеем разум»!.. В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, например, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изреченное нами предложение! — Также и противники элеатов подчинялись оболъщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он измыслил свой *атом*... «Разум» в языке — о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику...

Мне будут благодарны, если я выражу кратко столь существенное, столь новое уразумение в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я вызываю возражение.

Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность, — *иной* вид реальности абсолютно недоказуем.

Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на *ничто*: «истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является *лишь морально-оптическим* обманом.

Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы *мстим* жизни фантазмагорией «иной», «лучшей» жизни.

Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конце концов *коварного* христианина), — это лишь внушение *decadence* — симптом *нисходящей* жизни... Что художник ценит кажимость выше реальности, это не возражение против данного положения. Ибо «кажимость» означает здесь реальность *вдвойне*, только избранную, усиленную, корректированную... Трагический художник *вовсе не* пессимист, он говорит как раз *Да* всему загадочному и страшному, он проникнут дионисическим духом...

КАК «ИСТИННЫЙ МИР» НАКОНЕЦ СТАЛ БАСНЕЙ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ

1. Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, — он живет в нем, *он есть этот мир*.

(Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, *есмь истина*».)

2. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного («для грешника, который кается»).

(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, — *она становится женщиной*, она становится христианской...)

3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, не могущий быть обетованным, но уже, как мыслимый, утешение, долг, императив.

(Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской.)

4. Истинный мир — недостижимый? Во всяком случае, недостигнутый. И как недостигнутый, также *неведомый*. Следовательно, также не утешающий, не

спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..

(Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма.)

5. «Истинный мир» — идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, — ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, *следовательно*, опровергнутая идея — упраздним ее!

(Светлый день; завтрак; возвращение *bon sens** и веселости; краска стыда Платона; дьявольский шум всех свободных умов.)

6. Мы упразднили истинный мир — какой же мир остался? быть может, кажущийся?.. Но нет! *вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!*

(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения; кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA**.)

* здравый смысл (*фр.*).

** начинается Заратустра (*лат.*).

МОРАЛЬ КАК ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ

1

У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, — и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они соединяются брачными узлами с духом, когда они «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявляли войну самой страсти: давали клятву уничтожить ее, — все старые чудовища морали сходятся в том, что «il faut tuer les passions»*. Самая знаменитая формула на этот счет находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с *высоты*. Там, например, говорится в применении к половому чувству: «если око твое соблазняет тебя, вырви его» — к счастью, ни один христианин не поступает по этому предписанию. *Уничтожать* страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче, в свою очередь, только острой формой глупости. Мы уже не удивляемся зубным врачам, ко-

* надо убивать страсти (*фр.*).

торые *вырывают* зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «*одухотворение* страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась *против* «интеллигентных» на благо «нищих духом»; как же можно было ожидать от нее интеллигентной войны со страстью? — Церковь побеждает страсть вырезыванием во всех смыслах: ее практика, ее «лечение» есть *кастрация*. Она никогда не спрашивает: «как одухотворяют, делают прекрасным, обожествляют вожделение?» — она во все времена полагала силу дисциплины в искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). — Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви *враждебна жизни...*

2

То же самое средство: оскотление, искоренение — инстинктивно выбирается в борьбе с каким-нибудь вожделением теми, которые слишком слабы, слишком выродились, чтобы быть в состоянии соблюдать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Tгарре, говоря иносказательно (и без иносказания), какой-нибудь окончательный разрыв, *пропасть* между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря точнее, неспособность *не* реагировать на раздражение, есть, в свою очередь, только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается наводящим на размышление симптомом: он дает право на предположе-

ния относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. — Впрочем, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда такие натуры сами уже не имеют достаточной твердости для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, причисляя сюда и художников: самое ядовитое слово против чувств сказано *не* импотентами, также *не* аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...

3

Одухотворение чувственности называется *любовью*: оно является великим торжеством над христианством. Другим торжеством является наше одухотворение *вражды*. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозакрываешь обратно тому, как поступали и умозакрывали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов — мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее — гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо *снисходительнее*. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы противная партия не потеряла силы; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новое создание, например новая империя, нуждается более во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствует она себя необходимой, только в контрасте *становится* она необходимой... Не иначе относимся

мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут мы постигли ее *ценность*. Являешься *плодовитым* лишь в силу того, что богат контрастами; остаешься *молодым* лишь при условии, что душа не ложится врястяжку, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта давняя желательность, желательность «мира души», *христианская* желательность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная корова и жирное счастье чистой совести. Отказываешься от *великой* жизни, если отказываешься от войны... Во многих случаях, конечно, «мир души» является просто недоразумением — кое-чем иным, что не умеет только назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир души» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух становится влажным, что приближаются южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»). Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи приобретают новый вкус и который ждет... Или состоянием, следующим за сильным удовлетворением нашей господствующей страсти, приятным чувством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожелений, ваших пороков. Или ленью, которую тщеславие убедило вырядиться в моральном стиле. Или наступлением уверенности, даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства в делании, созидании, воспроизведении, хотении, спокойным дыханием, до-

стигнутой «свободой воли»... *Сумерки идолов*: кто знает? быть может, это тоже лишь известный вид «мира души»...

4

— Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т.е. всякая *здоровая* мораль, подчиняется инстинкту жизни, — какая-нибудь заповедь жизни исполняется определенным канонем о «должен» и «не должен», какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. *Противоестественная* мораль, т.е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена, наоборот, как раз *против* инстинктов жизни — она является то тайным, то явным и дерзким *осуждением* этих инстинктов. Говоря, что «Бог читает в сердце», она говорит Нет низшим и высшим вождениям жизни и считает Бога *врагом жизни*... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где *начинается* «Царствие Божие»...

5

Если предположить, что понята преступность такого восстания против жизни, которое стало почти священным в христианской морали, то вместе с этим, к счастью, понято также нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, *лживость* такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего остается в конце концов лишь симптомом известного вида жизни: вопрос о справедливости или несправедливости тут совершенно не ставится. Надо было бы занимать позицию *вне* жизни и, с другой стороны, знать

ее так же хорошо, как один, как многие, как все, которые ее прожили, чтобы вообще смочь касаться проблем *ценности* жизни — достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием инспирации, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь ценит через нас, *когда* мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та *противоестественная мораль*, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью — *какой* жизнью? *каким* видом жизни? — Но я уже дал ответ на это: нисходящей, расслабленной, усталой, осужденной жизнью. Мораль, как ее понимали до сих пор — как напоследок ее формулировал еще и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам *инстинкт decadence*, делающий из себя императив; она говорит: «погибни!» — она есть приговор осужденных...

6

Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек *должен бы* быть таким-то и таким-то!» Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть *иным*»?.. Он даже знает, *каким* он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят, он малюет себя на стене и говорит при этом «ессе homo»!.. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «*Ты* должен бы быть таким-то и таким-то!» — он не перестает делать себя посмешищем.

Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» — значит требовать, чтобы все изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, именно добродетельным, они хотели видеть в нем свое подобие, именно пустосвята: для этого они *отрицали мир!* Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она *осуждает*, сама по себе, а *не* из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не должно питать никакого сострадания, *идиосинкразия дегенератов*, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы иные люди, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, *одобрению*. Мы отрицаем не легко, мы ищем нашей чести в том, чтобы *быть утверждающими*. Все больше раскрываются наши глаза на ту экономию, которая нуждается и умеет пользоваться даже всем тем, что отвергает святое сумасбродство жреца, *большого* разума в жреце, на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительной специи пустосвята, жреца, добродетельного, — *какую* выгоду? — Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

1

Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. Нет более опасного заблуждения, чем *смешивать следствие с причиной*: я называю его подлинной испорченностью разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу древнейших и позднейших привычек человечества: оно даже освящено у нас, оно носит название «религии»-«морали». Каждое положение, формулируемое религией и моралью, содержит его в себе; жрецы и законодатели нравственности являются виновниками этой испорченности разума. — Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт для долгой и счастливой — а также добродетельной — жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она еще и теперь печатается в Англии ежегодно во многих тысячах экземпляров. Не сомневаюсь в том, что едва ли какая-нибудь книга (разумеется, исключая Библию) причинила столько бедствий, *сократила* столько жизней, как это столь благонамеренное *curiosum*. Основание этого: смешивание следствия с причиной. Честный итальянец видел в своей диете

причину своей долгой жизни: тогда как предусловие долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ, малая трата была причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало или много. Его умеренность была *не* «свободной волей»: он становился больным, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только хорошо, но и нужно есть *как следует*. Ученый *наших* дней, при быстром расходе своей нервной силы, погубил бы себя этим regime Корнаро. Crede experto*. —

2

Самая общая формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то — и ты будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия *есть* этот императив — я называю его великим наследственным грехом разума, *бессмертным неразумием*. В моих устах эта формула превращается в обратную ей — *первый* пример моей «переоценки всех ценностей»: удачный человек, «счастливец», *должен* совершать известные поступки и инстинктивно боится иных поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель *есть следствие* его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство *не* есть награда за добродетель, скорее сама добродетель *есть* то замедление обмена веществ, которое, между прочим, имеет следствием также долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, *корнаризм*. — Церковь и мораль говорят: «род,

* Верьте эксперту (*лат.*).

народ гибнет от порока и роскоши». Мой *восстановленный* разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого *вытекают* порок и роскошь (т.е. потребность все в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощенной натуре). Этот молодой человек рано становится бледным и вялым. Его друзья говорят: этому причина такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: *что* он стал больным, *что* он не мог сопротивляться болезни, было уже следствие оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия губит себя такой ошибкой. Моя *высшая* политика говорит: партия, делающая такую ошибку, находится на краю гибели — она уже не обладает уверенностью своего инстинкта. Каждая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: этим почти определяется *дурное*. Все *хорошее* есть инстинкт — и, следовательно, легко, необходимо, свободно. Тягостный труд есть возражение, *Бог* имеет типичное отличие от героя (на моем языке: *легкие* ноги суть первый атрибут божественности).

3

Заблуждение ложной причинности. Во все времена полагали, что знают, что такое причина, — но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; мы полагали по меньшей мере, что *поймали тут причинность с поличным*. Равным образом не сомневались в том, что все *antecedentia* поступка, его причины, надо искать в сознании и что они найдутся

там, если их поискать — в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны *совершить* поступок, не были бы ответственны за него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется? что *Я* производит мысль?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и самым убедительным является факт *воли как причины*; концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция *Я* («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того как относительно воли причинность была установлена как данная, как *эмпирия*... Между тем мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет, следовательно, также ничего более не объясняет — она только сопровождает события, она может также и отсутствовать. Так называемый «мотив» — другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее прикрывает *antecedentia* деяния, нежели выставляет их. И даже *Я!* Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! *Вот* что отсюда следует! — И мы мило злоупотребляли этой «эмпирией», мы *создали* на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология, она не делала ничего другого: всякое совершение стало для нее действием, всякое действие следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под

каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, — волю, дух, *Я*, он выудил понятие «бытие» впервые из понятия *Я*, он понял «вещи», как нечто сущее, по своему подобию, по своему понятию *Я* как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, *что вложил в них?* — Сама вещь, повторяю, понятие «вещь», просто рефлекс веры в *Я* как причину... И даже еще ваш атом, господя механики и физики, сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! — Не говоря уже о «вещи в себе», *hogrendum pudendum** метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать *Богом!* —

4

Заблуждение воображаемой причинности. Начнем со сновидения: под какое-нибудь определенное ощущение, например от отдаленного пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором именно грезящий является главным лицом). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно как бы ждет, пока инстинкт причины позволит ему выступить на передний план — теперь уже не в качестве случая, а в качестве «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену *каузальным* путем, в кажущемся обратном течении времени. Более позднее, мотивация, переживается раньше, часто с сотней подробностей, протекающих с быстротою молнии, выстрел *следует...* Что

* ужасная непристойность (*лат.*).

же случилось? Представления, *порожденные* известным состоянием, были ложно поняты как причина. — Фактически мы делаем во время бдения то же самое. Большая часть наших общих чувств — всякого вида затруднение, гнет, напряжение, взрыв в перекрестной игре органов, в особенности же состояние *pervus sympathicus* — возбуждают наш инстинкт причины: мы хотим иметь *основание* того, что чувствуем себя *так-то и так-то* — чувствуем себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто лишь установить факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт — *сознаем* его — лишь тогда, *когда* дали ему нечто вроде мотивировки. — Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования — *не* их причинность. Конечно, вера в то, что представления, что сопровождающие явления сознания были причинами, также всплывает благодаря воспоминанию. Так возникает *привычка* к известному причинотолкованию, которая в действительности затрудняет *исследование* причины и даже исключает его.

5

Психологическое объяснение этого. Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу — первый инстинкт направляется к тому, чтобы *устранить* тягостное состояние. Первый принцип: какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое. Так как дело идет, в сущности,

лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают очень-то разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от *удовольствия* («силы») как критерий истины. — Итак, инстинкт причины обуславливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько скорее *нечто вроде причины* — успокаивающую, освобождающую, облегчающую причину. Что нечто уже *знакомое*, пережитое, записанное в воспоминании прилагается в качестве причины, это первое следствие такой потребности. Новое, неизведанное, чуждое исключается как причина. — Таким образом в качестве причины ищется не только какой-нибудь вид объяснений, а *избранный* и *привилегированный* вид объяснений, таких, при которых быстрее всего, чаще всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, — *обычайших* объяснений. — Следствие: один вид установления причин перевешивает все более, концентрируется в систему и, наконец, выступает *доминирующим*, т.е. просто исключаящим *другие* причины и объяснения. — Банкир сейчас же думает о «деле», христианин — о «грехе», девушка — о своей любви.

6

Вся область морали и религии может быть подведена под это понятие воображаемых причин. «Объяснение» *неприятных* общих чувств. Они обуславливаются существами, враждебными нам (злыми духами: самый прославленный случай — ложное понимание истери-

чек как ведьм). Они обуславливаются поступками, не заслуживающими одобрения (чувство «греха», «греховности», подсовываемое под физиологическое недомогание, — всегда имеешь основания быть недозвольным собой). Они обуславливаются как наказания, как расплата за нечто, чего мы не должны бы были делать, чем мы не должны бы были *быть* (в бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль является тем, что она есть, подлинной отравительницей и клеветницей жизни: «Всякое великое страдание, все равно, телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постичь нас, если бы мы его не заслуживали». («Мир как воля и представление»). Они обуславливаются необдуманнами, дурно кончающимися поступками (аффекты, чувства, предполагаемые в качестве причин, в качестве «виновных»; физиологические бедствия, истолкованные с помощью *других* бедствий как «заслуженные»). — «Объяснение» *приятных* общих чувств. Они обуславливаются упованием на Бога. Они обуславливаются сознанием хороших поступков (так называемая «чистая» совесть, физиологическое состояние, порою схожее с удачным пищеварением как две капли воды). Они обуславливаются счастливым исходом предприятий (наивное ложное заключение: счастливый исход предприятия отнюдь не даст какому-нибудь ипохондрику или Паскалю приятных общих чувств). Они обуславливаются верой, любовью, надеждой — христианскими добродетелями. — В действительности все эти мнимые объяснения суть *результаты* и как бы переводы чувства удовольствия или неудовольствия на фальшивый диалект: находятся в состоянии надежды, *потому что* основное физиологическое чувство становится снова

сильным и богатым: уповают на Бога, *потому что* чувство полноты и силы дает человеку спокойствие. Мораль и религия всецело относятся к *психологии заблуждения*: в каждом отдельном случае причина смешивается с действием; или истина смешивается с действием чего-то *считаемого* истинным; или состояние сознания смешивается с причинностью этого состояния. —

7

Заблуждение относительно свободной воли. Мы нынче совершенно не сочувствуем понятию «свободная воля»: мы слишком хорошо знаем, что оно такое — самый сомнительный фокус теологов, какой только есть, с целью сделать человечество «ответственным» в их смысле, т.е. *сделать зависимым от них самих...* Я даю здесь лишь психологию всякого дела-ния ответственным. — Всюду, где ищутся ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт *желания наказывать и судить*. Лишают становление его невинности, если сводят какое-нибудь данное состояние к воле, к намерениям, к актам ответственности: учение о воле измышлено главным образом для целей наказания, т.е. *желания находить виновных*. Вся древняя психология, психология воли, зиждется на том, что ее создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели создать себе *право* присуждать к наказаниям — или создать для Бога право на это... Людей мыслили «свободными», чтобы их можно было судить и наказывать, — чтобы они могли быть *виновными*: следовательно, каждый поступок *должен был* мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка — находящимся в сознании (чем *напринципаль-*

ная фабрикация фальшивых монет in psychologicis была возведена в принцип самой психологии...). Нынче, когда мы вступили в *обратное* движение, когда особенно мы, имморалисты, пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие заражать невинность становления понятием «нравственного миропорядка», «наказанием» и «виною». Христианство есть метафизика палача...

8

Что только и может быть *нашим* учением? — Что никто не *дает* человеку его качеств, ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни *он сам* (бесмыслица последнего из отрицаемых представлений имеет место в учении Канта, как «интеллигибельная свобода», а может быть, уже и у Платона). *Никто* не ответствен за то, что он вообще существует, что он обладает такими-то и такими-то качествами, что он находится среди этих обстоятельств, в этой обстановке. Фатальность его существа не может быть высвобождена из фатальности всего того, что было и что будет. Он *не* есть следствие собственного намерения, воли, цели, в лице его *не* делается попытка достигнуть «идеала человека», или «идеала счастья», или «идеала нравственности», — абсурдно желать *свалить* его сущность в какую-нибудь цель. *Мы* изобрели понятие «цель»: в реальности *отсутствует* цель... Являешься необходимым, являешься частицей рока, принадлежишь к целому, *существуешь* в целом — нет ничего,

что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое... *Но нет ничего, кроме целого!* — Что никто более не будет делаем ответственным, что вид бытия нельзя сводить к *causa prima*, что мир, ни как сенсориум, ни как «дух», не есть единство, *только это и есть великое освобождение*, — только этим и восстанавливается вновь *невинность* становления... Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим *возражением* против существования... Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: *этим* впервые спасаем мы мир. —

«ИСПРАВИТЕЛИ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1

Известно требование, предъявляемое мною философам: становиться *по ту сторону* добра и зла, — оставить *под* собою иллюзию морального суждения. Это требование вытекает из познания, сформулированного впервые мною: *что не существует вовсе никаких моральных фактов*. Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, говоря точнее, *лжетолкование*. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой еще отсутствует даже понятие реального, различие реального и воображаемого: так что «истина» на этой ступени означает все такие вещи, которые мы нынче называем «фантазиями». Постольку моральное суждение никогда не следует принимать буквально: как таковое, оно всегда содержит лишь нелепость. Но оно остается неопенимым как *семиотика*: оно открывает, по крайней мере сведущему, ценнейшие реальности культур и внутренних переживаний, которые недостаточно *знали*, чтобы «понимать» самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология: нужно уже знать, о *чем* идет дело, чтобы извлекать из нее пользу.

Первый пример и совершенно предварительно. Во все времена хотели «исправлять» людей — это прежде всего называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. Как *укрощение* зверя человека, так и *расположение* известной породы человека называется «улучшением»: только эти зоологические *termini* выражают реальности, — конечно, такие реальности, о которых типичный «исправитель», жрец, ничего не знает, — ничего не *хочет* знать... Называть укрощение животного его «улучшением» — это звучит для нашего уха почти как шутка. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там «улучшали». Его ослабляют, делают менее вредным, он становится благодаря депрессивному аффекту страха, боли, ранам, голоду *болезненным* зверем. — Не иначе обстоит дело и с укрощенным человеком, которого «исправил» жрец. В начале Средних веков, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами «белокурых бестий», — «исправляли», например, знатных германцев. Но как выглядел вслед за тем такой «исправленный», завлеченный в монастырь германец? Как карикатура человека, как выродок: он сделался «грешником», он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он лежал там больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к позывам к жизни, полный подозрений ко всему, что было еще сильным и счастливым. Словом, «христианин»... Говоря физиологически: в борьбе со зверем разрушение его здоровья *может* быть единственным средством сделать его слабым.

Это поняла церковь: она *испортила* человека, она ослабила его, — но она заявила претензию на то, что «исправила» его...

3

Возьмем другой случай так называемой морали, случай распложения известной расы и породы. Самый грандиозный пример этого дает индийская мораль, санкционированная как религия, в качестве «Закона Ману». Тут поставлена задача вывести не менее четырех сортов рас одновременно: жреческую, военную, торговую и земледельческую, наконец, расу слуг, шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей: во сто раз более мягкий и разумный вид человека нужен уже для того, чтобы лишь начертать план такого распложения. Вдыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, более высокий, *более просторный* мир. Как убог «Новый Завет» по сравнению с Ману, как скверно пахнет он! — Но и этой организации понадобилось быть *устрашающей*, — на этот раз в борьбе не с бестией, а с *ее* противоположностью, с неплеменным человеком, с человеко-помесью, с чандалою. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его *больным*, — это была борьба с «великим множеством». Быть может, нет ничего более противоречащего нашему чувству, нежели *эти* предохранительные меры индийской морали. Третье предписание, например (Avadana-Sastra I) «о нечистых овощах», устанавливает, что единственной пищей, дозволенной чандалам, должны быть лук и чеснок, принимая во внимание, что священная книга воспрещает давать им семена или плоды, носящие

семена, или *воду*, или огонь. То же предписание устанавливает, что необходимая им вода не может быть взята ни из рек, ни из источников, ни из прудов, а лишь из доступов к болотам и из углублений, оставляемых следами животных. Равным образом им запрещалось мыть свое белье и *мыться самим*, так как даваемою им из милости водою разрешалось пользоваться только для утоления жажды. Наконец, запрещалось женщинам-шудрам оказывать помощь женщинам-чандалам при родах, так же как последним *помогать при этом друг другу*... — Результат таких санитарно-полицейских предписаний не преминул обнаружиться: смертельные эпидемии, омерзительные половые болезни и по отношению к ним опять применение «закона ножа», обрезание для мальчиков, удаление малых срамных губ для девочек. — Сам Ману говорит: «Чандала — плод прелюбодеяния, кровосмешения и преступления (это *необходимая* последовательность понятия распложения). Одеждой им должны служить лишь лохмотья с трупов, посудой — разбитые горшки, для украшений старое железо, для богослужений только злые духи: они должны без отдыха бродить с одного места на другое. Им запрещается писать слева направо и пользоваться для писания правой рукой: пользование правой рукой и писание слева направо остается только за *добродетельными*, за людьми *расы*». —

4

Эти предписания довольно поучительны: в них мы имеем *арийскую* гуманность в совершенно чистом, в совершенно первоначальном виде, — мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом безобидного понятия. С другой стороны, становится яс-

ным, в *каком* народе увековечилась ненависть, ненависть чандалы к этой «гуманности», где она стала религией, где она стала *гением*... С этой точки зрения Евангелия являются документом первого ранга; еще более книга Еноха. — Христианство, имеющее иудейский корень и понятное лишь как растение этой почвы, представляет собою *движение, противное* всякой морали распложения, расы, привилегии: это *антиарийская* религия *par excellence*; христианство — переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чандалы, проповедь Евангелия нищим и низменным, общее восстание всего попираемого, отверженного, неудавшегося, пострадавшего против «расы», — бессмертная месть чандалы, как *религия любви*...

5

Мораль *распложения* и мораль *укрощения* по средствам для достижения своих целей вполне стоят друг друга: мы имеем право установить в качестве высшего положения, что для *создания* морали надо иметь безусловно волю к противоположному. Вот великая, *жуткая* проблема, которую я преследовал дольше всего: психология «исправителей» человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт, факт так называемой *ria graus*, дал мне первый доступ к этой проблеме: *ria graus*, наследие всех философов и жрецов, которые «исправляли» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем *праве* на ложь. Они не сомневались *в совсем других правах*... Формулируя это, можно сказать: *все средства, которые до сих пор должны были сделать человечество нравственным, были совершенно безнравственными*. —

ЧЕГО НЕДОСТАЕТ НЕМЦАМ

1

Среди немцев нынче недостаточно иметь ум: нужно еще заявить претензию на него, *позволить* себе быть умным...

Быть может, я знаю немцев, быть может, я смею даже высказать им несколько истин. Новая Германия представляет собою большое количество унаследованной и привитой доблести, так что даже может некоторое время расточительно расходовать накопленное сокровище силы. *Не* высокая культура достигла в ее лице господства, еще того менее утонченный вкус, аристократическая «красота» инстинктов; *но более мужские* добродетели, чем может выставить какая-либо другая страна Европы. Много бодрости и уважения к самому себе, много уверенности в обхождении, во взаимности обязанностей, много трудолюбия, много выносливости — и унаследованная умеренность, нуждающаяся скорее в шипах, чем в тормозе. Прибавлю к этому, что тут еще повинуются без того, чтобы повинование смиряло... И никто не презирает своего противника...

Читатель видит, что мое желание — быть справедливым к немцам: мне не хотелось бы изменить себе в этом, — стало быть, я должен также сказать, что

я имею против них. Дорого стоит достигнуть могущества: могущество *одуряет*... Немцы — их называли некогда народом мыслителей, — мыслят ли они еще нынче вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей — «Deutschland, Deutschland über alles», я боюсь, что это было концом немецкой философии... «Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты? есть ли *хорошие* немецкие книги?» — спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, свойственной и мне в отчаянных случаях, отвечаю: «Да, *Бисмарк!*» — Разве я посмел бы хоть только сознаться, какие книги читают теперь?.. Проклятый инстинкт посредственности! —

2

— Чем *мог бы* быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою! Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет: нигде так порочно не злоупотребляли двумя сильными европейскими наркотиками, алкоголем и христианством. С недавнего времени к ним прибавилось еще и третье, которое одно уже способно доконать всякую топкую и смелую гибкость ума, — музыка, наша засоренная, засоряющая немецкая музыка. — Сколько угрюмой тяжести, вялости, сырости, халата, сколько *пива* в немецкой интеллигенции! Как это, собственно, возможно, чтобы молодые люди, посвятившие жизнь духовным целям, не чувствовали бы в себе первого инстинкта духовности, *инстинкта самосохранения духа* — и пили бы пиво?.. Алкоголизм ученой молодежи, быть может, еще не является вопросительным

знаком по отношению к их учености — можно, даже и не обладая умом, быть великим ученым, — но во всяком другом отношении он остается проблемой. — Где только не найдешь его, этого тихого вырождения, которое производит в духовной области пиво! Я указал уже однажды в случае, ставшем почти знаменитым, на такое вырождение — вырождение нашего первого немецкого вольнодумца, *умного* Давида Штрауса, в автора евангелия распивочных и «новой веры»... Недаром он выразил в стихах свое обещание «прелестной шатенке!» — верность до гроба...

3

— Я сказал о немецком уме, что он стал грубее, что он опошляется. Довольно ли этого? — В сущности, меня ужасает нечто совершенно другое: как все более умалется немецкая серьезность, немецкая глубина, немецкая *страсть* в духовных вещах. Изменился пафос, а не только интеллектуальность. — Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух! Было бы глубоким недоразумением выставлять мне здесь в качестве возражения немецкую науку — да еще и доказательством того, что не читали ни одного слова из моих сочинений. Я неустанно указывал в течение семнадцати лет на *обездушивающее* влияние нашего теперешнего научного стремления. Суровое илотство, на которое осуждает нынче каждого чудовищный объем наук, является главным основанием того, что более одаренные, богатые, *глубокие* натуры уже не находят соответственного им воспитания, а *также воспитателей*. Наша культура не страдает ничем *в большей степени*,

нежели излишком заносчивых поденщиков и обрывков человека: наши университеты являются, против воли, настоящими теплицами для этого вида оскудения инстинкта духа. И вся Европа уже понимает это — великая политика не обманет никого... Германия слывет все более *плоскоманией* Европы. — Я все еще *ищу* немца, с которым я мог бы быть серьезным на свой лад, — во сколько же раз больше жажду я найти такого, с которым я мог бы быть веселым! — *Сумерки идолов*: ах, кто поймет нынче, *от какой серьезности* отдыхает тут отшельник! — Веселость в нас самое непостижимое...

4

Произведем подсчет: не только ясно, что немецкая культура понижается, но есть и достаточное основание для этого. Никто не может в конце концов расходовать больше, чем имеет, — это справедливо относительно отдельных лиц, это справедливо и относительно народов. Если израсходуешь себя на могущество, на великую политику, на хозяйство, на международные сношения, парламентаризм, военные интересы, — если отдашь то количество ума, серьезности, воли, самопреодоления, которое представляешь собою, в *эту* сторону, то явится недочет на другой стороне. Культура и государство — не надо обманываться на этот счет — антагонисты: «культурное государство» есть только современная идея. Одно живет другим, одно преуспевает за счет другого. Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка: что велико в смысле культуры, то было неполитичным, даже *антиполитичным*... У Гёте взшло сердце при появлении Наполеона, — оно *зашло* у него

во время «войн за свободу»... В то же самое мгновение, как Германия возвышается в качестве великой державы, получает Франция, как *культурная держава*, новое значение. Уже нынче много новой серьезности, много новой *страсти* духа перекочевало в Париж; вопрос пессимизма, например вопрос Вагнера, почти все психологические и художественные вопросы трактуются там несравненно тоньше и основательнее, чем в Германии, — немцы даже *не способны* на серьезность этого рода. — В истории европейской культуры возникновение «империи» означает прежде всего одно: *перенесение центра тяжести*. Уже известно везде: в главном — а им остается культура — немцы не принимаются более в расчет. Спрашивают: можете ли вы указать хоть на один имеющий европейское значение ум? каким был ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? — Что нет более ни одного немецкого философа, это вызывает удивления без конца. —

5

Все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного — *цели*, равно как и *средства* для достижения цели. Что воспитание, *образование* само есть цель — а *не* «империя», — что для этой цели нужны *воспитатели* — а *не* учителя гимназий и университетские ученые — об этом забыли... Нужны воспитатели, которые *сами воспитаны*, превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом и молчанием, зрелые, ставите *сладкими* культуры, — а *не* ученые олухи, каких нынче предлагает юношеству гимназия и университет в качестве «высших нянек». Воспита-

телей *нет*, не считая исключений из исключений, нет *первого* пред условия воспитания — *отсюда* упадок немецкой культуры. — Одним из этих редчайших исключений является мой достопочтенный друг Якоб Буркхардт в Базеле: ему прежде всего обязан Базель своим превосходством по части гуманности. — То, чего фактически достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с возможно меньшей потерей времени множество молодых людей, полезных, могущих быть *использованными* для государственной службы. «Высшее воспитание» и *множество* — это заранее противоречит одно другому. Всякое высшее воспитание подобает лишь исключениям: нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все великие, все прекрасные вещи никогда не могут быть общим достоянием: *pulchrum est paucorum hominum**. — Что *обуславливает* упадок немецкой культуры? Что «высшее воспитание» уже не является *преимуществом* — демократизм «всеобщего», ставшего *пошлым* «образования»... Не следует забывать, что воинские льготы положительно вынуждают *слишком многих к посещению* высших школ, т.е. способствуют их упадку. — Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание: все наши «высшие» школы рассчитаны на самую двусмысленную посредственность, с их учителями, учебными планами, учебными целями. И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года еще не «готов», еще не знает, что ответить на «главный вопрос»: *какое призвание?* — Высшая порода людей, с позво-

* прекрасное принадлежит немногим (*лат.*).

ления сказать, не любит «призваний», именно потому, что сознает себя призванной... У нее есть время, она не спешит, она совсем не думает о том, чтобы стать «готовой», — в тридцать лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим, ребенком. — Наши переполненные гимназии, наши обремененные, отупленные учителя гимназий — ведь это скандал: чтобы защищать такое положение дел, как это было недавно сделано профессорами Гейдельберга, на это, быть может, есть *причины*, — оснований для этого нет.

6

— Чтобы остаться верным своему характеру, характеру *утверждающему* и лишь косвенно, лишь поневоле имеющему дело с противоречием и критикой, я устанавливаю тотчас же три задачи, ради которых нужны воспитатели. Надо научиться *смотреть*, надо научиться мыслить, надо *научиться говорить* и *писать*: целью всех трех является аристократическая культура. — Научиться *смотреть* — приучить глаз к спокойствию, к терпению, приучить его заставлять приближаться к себе; откладывать суждение, научиться обходить и охватывать частный случай со всех сторон. Такова *первая* подготовка к духовному развитию: *не* реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться *смотреть*, как я понимаю это, есть почти то самое, что на нефилософском языке называется сильной волей: существенное в этом именно — *не* «хотеть», *мочь* откладывать решение. Вся духовная неразвитость, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению: человек *должен* реагировать, он следу-

ет каждому импульсу. Во многих случаях такая необходимость является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения, — почти все, что нефилософское невежество называет именем «порока», есть только эта физиологическая неспособность не реагировать. — Применение выучки смотреть: делаешься, как *учащийся* вообще, медленным, недоверчивым, сопротивляющимся. Чуждое, *новое* всякого вида заставляешь сперва подходить к себе с враждебным спокойствием, — отдергиваешь от него руку. Раскрытие всех дверей, покорное лежание на брюхе перед каждым маленьким фактом, готовность во всякое время влезать, *вторгаться* в других и в другое, словом, знаменитая современная «объективность» является дурным вкусом и *неаристократична par excellence*. —

7

Научиться *мыслить*: в наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди подлинных эрудитов философии логика как теория, как практика, *как ремесло* начинает вымирать. Почитайте немецкие книги: никакого, даже самого отдаленного, воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, — что мышление *требует* изучения, как требуют его танцы, *как* нечто вроде танца... Кто из немцев знает еще по опыту те тонкие содрогания, которыми *легкие ноги* в умственной области переполняют все мускулы. — Надутая неуклюжесть умственных приемов, *грубая* рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой. У немца нет *пальцев* для nuances... Что немцы хоть только выдержали сво-

их философов, прежде всего этого уродливейшего идейного калеку, какой только существовал, *великого* Канта, это дает немалое понятие о немецком изяществе. — Нельзя именно исключить из *аристократического воспитания танцы* во всякой форме, умение танцевать ногами, понятиями, словами: нужно ли мне еще говорить, что это надо уметь делать также *пером*, — что нужно научиться *писать*? — Но в этом пункте я стал бы для немецких читателей полнейшей загадкой...

НАБЕГИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО

1

Мои невозможные. *Сенека*, или тореадор добродетели. — *Руссо*, или возвращение к природе in impuris naturalibus*. — *Шиллер*, или трубач морали из Зэкингена. — *Данте*, или гиена, *слагающая стихи* в могилах. — *Кант*, или *sant* как интеллигибельный характер. — *Виктор Гюго*, или маяк у моря безумия. — *Лист*, или школа беглости — за женщинами. — *Жорж Санд*, или *lactea ubertas***, по-немецки: дойная корова с «прекрасным стилем». — *Мишле*, или вдохновение, снимающее сюртук. — *Карлейль*, или пессимизм, как вышедший назад обед. — *Джон Стюарт Милль*, или оскорбительная ясность. — *Les frères de Goncourt*, или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка Оффенбаха. — *Золя*, или «радость издавать зловоние». —

2

Ренан. Теология, или испорченность разума «наследственным грехом» (христианством). Доказательство — Ренан, который промахивается с томительной

* в природных нечистотах (*лат.*).

** молочное изобилие (*лат.*).

регулярностью, как только рискнет на какое-нибудь Да или Нет более общего вида. Ему хотелось бы, например, соединить в одно *la science* и *la noblesse**, но *la science* относится к демократии, ведь это ясно как день. Он желает, с немалым честолюбием, представлять собою духовный аристократизм; но вместе с тем он ползает на коленях, и не только на коленях, перед противоположным ему учением, перед *évangile des humbles***... Чему поможет все вольнодумство, весь модернизм, вся насмешливость и проворство вертишейки, если своим нутром человек остался христианином, католиком и даже жрецом! Ренан, совершенно как иезуит и ксёндз, изобретателен в оболыщении; его гению не чужды широкие поповские улыбки, — он, как и все жрецы, становится опасным лишь тогда, когда любит. Никто не сравнится с ним в искусстве поклоняться с большей опасностью для жизни... Этот дух Ренана, дух *энервирующий*, является лишним фатумом для бедной, больной, страдающей болезнью воли Франции. —

3

Сент-Бёв. Ничего от мужчины; полон мелкой злобы ко всем мужам по духу. Блуждает вокруг, утонченный, любопытный, надоедливый, подслушивающий, — в сущности, особа женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений *de la medisance****; неистощимо богат средствами на это; никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих

* наука, аристократия (*фр.*).

** евангелие смиренных (*фр.*).

*** злословие (*фр.*).

низших инстинктах и родственной с *ressentiment* Руссо: *следовательно*, романтик, — ибо под всем *romantisme* скрывается хрюкающий и жаждущий мести инстинкт Руссо. Революционер, но еще кое-как сдерживаемый страхом. Без свободы перед всем, что обладает силой (общественное мнение, академия, двор, даже Пор-Рояль). Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. В достаточной степени поэт и полуженщина, чтобы все еще чувствовать великое как власть; постоянно извивающийся, как тот знаменитый червь, потому что он постоянно чувствует себя придавленным. Как критик, без масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического *libertin* для самого разнообразного, но без мужества даже сознаться в *libertinage**. Как историк, без философии, без *властности* философского зора, — поэтому отклоняющий задачу судьбы во всех важных вещах, прикрывающийся «объективностью», как маской. Иначе относится он ко всем вещам, где тонкий, изощренный вкус является высшей инстанцией: тут он действительно имеет мужество в отношении себя, наслаждается собою, — тут он *мастер*. — С некоторых сторон это предформа Бодлера. —

4

Imitatio Christi принадлежит к числу книг, которые я держу в руках не без физиологического отвращения: она издает *parfum* Вечно-Женственного, для которого уже нужно быть французом — или вагнерианцем... У этого святого такая манера говорить о люб-

* распутник... распутство (*фр.*).

ви, что возбуждает любопытство даже у парижанок. — Мне говорят, что тот *умнейший* иезуит, Ог. Конт, который хотел привести своих французов *окольным путем* науки в Рим, вдохновился этой книгой. Я верю этому: «религия сердца»...

5

Дж. Элиот. Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль: это *английская* последовательность; мы не будем осуждать за нее моральных самок *à la* Элиот. В Англии за каждую маленькую эмансипацию от теологии надо снова ужасающим образом восстанавливать свою честь в качестве фанатика морали. Там это *штраф*, который платят. Для нас, иных людей, дело обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног *право* на христианскую мораль. Последняя отнюдь *не* понятна сама по себе — нужно постоянно указывать на это, наперекор английским тупицам. Христианство есть система, сообразованное и *цельное* воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: в руках не остается более ничего необходимого. Христианство предполагает, что человек не знает, не *может* знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это. Христианская мораль есть повеление; ее источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, — она держится и падает вместе с верой в Бога. — Если фактически англичане верят, будто

они знают сами, «интуитивно», что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что им более не нужно христианство как гарантия морали, то это в свою очередь является лишь *следствием* господства христианских суждений о ценностях и выражением *силы* и *глубины* этого господства; так что источник английской морали забыт, так что очень условная сторона ее права на существование уже не ощущается более. Для англичанина мораль еще не проблема...

6

Жорж Санд. Я читал первые *lettres d'un voyageur**: как все, что ведет свое происхождение от Руссо, они фальшивы, деланны, напыщенны, лишены чувства меры. Я не выношу этого пестрого коврового стиля; так же, как плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, остается женское кокетничанье мужскими повадками, манерами невоспитанных малых. — Как холодна она должна была быть при всем этом, эта несносная художница! Она заводила себя, как часы, — и писала... Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли! И с каким самодовольством, должно быть, возлежала она при этом, эта плодовитая пишущая корова, которая имела в себе нечто немецкое в дурном смысле, подобно самому Руссо, ее учителю, и во всяком случае была возможна только при упадке французского вкуса! — Но Ренан читает ее...

* письма путешественника (*фр.*). Книга Жорж Санд (1837).

Мораль для психологов. Не заниматься разносчицей психологией! Никогда не наблюдать для того, *чтобы* наблюдать! Это вызывает фальшивую оптику, косоглазие, нечто принужденное и лишенное чувства меры. Переживание как *хотение* переживать — это не удастся. Не *следует*, переживая что-нибудь, озираться на себя, каждый взгляд становится тут «дурным глазом». Прирожденный психолог инстинктивно остерегается смотреть, чтобы смотреть; то же самое можно сказать о прирожденном живописце. Он никогда не работает «с природы», — он предоставляет своему инстинкту, своей *самега obscura* просеивать и выражать «случай», «природу», «пережитое»... Только *общее* проникает в его сознание, только заключение, результат: ему незнакомо это произвольное абстрагирование от отдельного случая. — Что же выйдет, если станешь поступать иначе? Например, если наподобие парижских *romanciers* станешь в больших и малых размерах заниматься разносчицей психологией? Они как бы подкарауливают действительность, *они* приносят каждый вечер домой целую пригоршню курьезов... Но стоит только посмотреть, что выходит из этого в конце концов, — множество пятен, в лучшем случае мозаика, во всяком случае нечто составленное, беспокойное, кричащее красками. Самого худшего в этом достигают Гонкуры: они не составят трех предложений, которые просто не оскорбляли бы глаз, глаз *психолога*. — Природа с артистической точки зрения во все не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа есть *случай*. Работа «с природы» кажется мне дурным признаком: она выдает подчинение, слабость, фатализм, — это падание ниц перед *petits faits* недостойно *цельного* художника. Ви-

деть то, *что есть*, — это подобает совсем иному роду людей, людям *антиартистическим*, людям факта. Надо знать, *кто ты такой*...

8

К психологии художника. Для того, чтобы существовало искусство, для того, чтобы существовало какое-либо эстетическое творчество и созерцание, необходимо одно физиологическое предусловие — *опьянение*. Опынение должно сперва усилить возбудимость целой машины: иначе дело не дойдет до искусства. Все виды опьянения, сколь разнообразны ни были бы их причины, обладают силой для этого: прежде всего опьянение полового возбуждения, эта древнейшая и изначальнейшая форма опьянения. Равным образом опьянение, являющееся следствием всех сильных вожделений, всех сильных аффектов: опьянение празднества, состязания, бравурной пьесы, победы, всех крайних возбуждений; опьянение жестокости; опьянение разрушения; опьянение под влиянием известных метеорологических явлений, например весеннее опьянение; или под влиянием наркотических средств; наконец, опьянение воли, опьянение перегруженной и вздувшейся воли. — Существенным в опьянении является чувство возрастания силы и полноты. Из этого чувства мы отдаем кое-что вещам, мы *принуждаем* их брать от нас, мы насилуем их, — это явление называют *идеализированием*. Освободимся тут от одного предрассудка: идеализирование *не* состоит, как обыкновенно думают, в отвлечении или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное *выдвигание* главных черт, так что другие, благодаря этому, исчезают.

9

В этом состоянии обогащаешь все из своего собственного избытка: что видишь, чего хочешь, то видишь вздувшимся, сгущенным, сильным, перегруженным силой. Человек в этом состоянии изменяет вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, — пока они не станут рефлексамии его совершенства. Эта *потребность* превращать в совершенное есть — искусство. Даже все, что не он, несмотря на это, становится для него наслаждением собою; в искусстве человек наслаждается собою как совершенством. — Было бы позволительно измыслить себе противоположное состояние, специфическую антихудожественность инстинкта, — такой вид бытия, который все разжижал бы, делал бы бедным, чахоточным. И в самом деле, история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые по необходимости должны питаться вещами, обглаживать их, делать их *более тощими*. Таков, например, случай истого христианина, например Паскаля; христианина, который был бы вместе с тем и художником, *встретить нельзя...* Не следует с детской простотою выставлять мне в виде возражения Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан девятнадцатого столетия: Рафаэль говорил Да, Рафаэль *делал* Да, следовательно, Рафаэль не был христианином...

10

Что означают введенные мною в эстетику противопонятия *аполлонического* и *дионисического*, если понимать их как виды опьянения? Аполлоническое опьянение держит прежде всего в состоянии возбу-

ждения глаз, так что он получает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт — визионеры *par excellence*. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и повышена вся система аффектов: так что она сразу выгружает все свои средства выражения и выдвигает одновременно силу изображения, подражания, преобразования, превращения, всякого вида мимику и актерство. Существенным остается легкость метаморфоза, неспособность *не* реагировать (подобно некоторым истеричным, которые также по каждому мановению входят во *всякую* роль). Для дионисического человека невозможно не понять какого-либо внушения, он не проглядит ни одного знака аффекта, он обладает наивысшей степенью понимающего и отгадывающего инстинкта, равно как и наивысшей степенью искусства передачи. Он входит во *всякую* шкуру, во *всякий* аффект: он преобразуется постоянно. — Музыка, как мы понимаем ее нынче, есть также общее возбуждение и разряжение аффектов, однако *это* лишь остаток гораздо более полного арсенала выражений аффекта, лишь *residuum** дионисического гистрионизма. Для возможности музыки, как обособленного искусства, заставили умолкнуть некоторые чувства, прежде всего мускульное чувство (по крайней мере относительно: ибо в известной степени всякий ритм еще говорит нашим мускулам); так что человек уже не воспроизводит и не изображает тотчас же в лицах все то, что он чувствует. Тем не менее *это* — подлинно нормальное дионисическое состояние, во всяком случае первобытное состояние; музыка есть медленно достигнутая спецификация его в ущерб близкородственным ему способностям.

* остаток (*лат.*).

11

Актер, мим, танцор, музыкант, лирик весьма близки по своим инстинктам и представляют собою одно, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга — доходя даже до противоречия. Лирик дольше всего составлял одно с музыкантом, актер с танцором. — *Зодчий* не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния: тут перед нами великий акт воли, воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждущей искусства. Самые могущественные люди всегда вдохновляли зодчих; зодчий находился всегда под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти; архитектура есть нечто вроде красноречия власти в формах, то убеждающего, даже льстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в том, что имеет *великий стиль*. Власть, которой уже не нужны доказательства; которая пренебрегает тем, чтобы нравиться; которая с трудом отвечает; которая не чувствует вокруг себя ни одного свидетеля; которая живет без сознания того, что существует противоречие ей, которая отдыхает в *себе*, фаталистичная, закон из законов: *вот что* говорит о себе как великий стиль. —

12

Я читал жизнь *Томаса Карлейля*, этот невольный и не ведающий себя фарс, эту героически-моральную интерпретацию диспептических состояний. — Карлейль, человек сильных слов и поз, ритор по нужде, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры,

а также чувство неспособности на это (в этом он типичный романтик!). Жажда сильной веры *не* есть доказательство сильной веры, скорее напротив. *Если имеешь ее*, то можешь позволить себе прекрасную роскошь скепсиса: для этого являешься достаточно уверенным, достаточно твердым, достаточно связанным. Карлейль заглушает нечто в себе посредством fortissimo своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным: ему *нужен* шум. Постоянная страстная *бесчестность* по отношению к себе — это его *progrium**, этим он делается и остается интересным. — Конечно, в Англии его чтут именно за его честность... Что ж, это по-английски; а принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершенного *sant*, даже справедливо, а не только понятно. В сущности, Карлейль — английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы *не* быть им.

13

Эмерсон. Гораздо более просвещенный, увлекающийся, разносторонний, утонченный, нежели Карлейль, прежде всего более счастливый... Такой человек, который инстинктивно питается только амброзией, который оставляет нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлейлем человек вкуса. — Карлейль, очень его любивший, несмотря на это, сказал про него: «Он дает *нам* недостаточно кусать», — что, может быть, сказано справедливо, но не служит упреком Эмерсону. — Эмерсон обладает той доброй и гениальной веселостью, которая обескураживает

* свойство (*лат.*).

всякую серьезность; он совершенно не знает того, как он уже стар и как он еще будет молод, — он мог бы сказать о себе словами Лопе де Веги: «Yo me sucedo a mí mismo»*. Его ум всегда находит основания быть довольным и даже благодарным; а иногда он соприкасается с веселой трансцендентностью того доброго малого, который вернулся с любовного свидания *tamquam re bene gesta*. «*Ut desint vires, —* сказал он с благодарностью, — *tamen est laudanda voluptas*»**. —

14

Анти-Дарвин. Что касается знаменитой «борьбы за существование», то она кажется мне, однако, более плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение; общий вид жизни есть *не* нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, — где борются, там борются за *власть*... Не следует смешивать Мальтуса с природой. — Но положим, что существует эта борьба — и в самом деле, она происходит, — в таком случае она, к сожалению, кончается обратно тому, как желает школа Дарвина, как, быть может, мы *смели бы* желать вместе с нею: именно неблагоприятно для сильных, для привилегированных, для счастливых исключений. Роды *не* возрастают в совершенстве: слабые постоянно вновь становятся господами над сильными, — это происходит оттого, что их великое множество, что они также *умнее*... Дарвин забыл про ум (это по-английски!), *у слабых больше ума*... Надо нуждаться в уме, чтобы приобрести ум, — его

* Я следую самому себе (*исп.*).

** как если бы дело удалось. «Пусть не хватает сил, но само сладострастие заслуживает похвалы» (*лат.*).

теряют, когда он становится более ненужным. Кто обладает силой, тот отрекается от ума («проваливай себе! — думают нынче в Германии, — *империя* должна все-таки у нас остаться»...). Как видите, я понимаю под умом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является *mīstisry* (к последнему относится большая часть так называемой добродетели).

15

Казуистика психолога. Вот знаток людей — для чего он, собственно, изучает их? Он хочет выудить маленькие преимущества над ними или также большие, — он политик!.. Вот тоже знаток людей — а вы говорите, что он ничего не хочет извлекать из этого для себя, что это великий «безличный». Вглядитесь пристальней! Быть может, он хочет даже еще более *недоброго* преимущества — чувствовать себя выше людей, сметь смотреть на них сверху вниз, не смешивать уже более себя с ними. Этот «безличный» *презирает* людей: и тот первый является более туманной *species*, что бы ни говорила внешность. Он по крайней мере становится вровень с ними, становится *в ряды* их...

16

Психологический такт немцев кажется мне подвергнутым сомнению целым рядом случаев, представить перечень которых мне мешает моя скромность. Но в одном случае у меня нет недостатка в великом поводе обосновать мой тезис: я не могу простить немцам, что они ошиблись в *Канте* и его «философии задних дверей», как я называю ее, — это *не* был тип

интеллектуальной честности. — Другое, чего я не могу слышать, это пресловутое «и»: немцы говорят «Гёте и Шиллер», — боюсь, что они говорят «Шиллер и Гёте»... Разве еще не *знают* этого Шиллера? — Есть еще худшие «и»; я слышал собственными ушами, конечно, лишь среди университетских профессоров, «Шопенгауэр и Гартман»...

17

Гениальнейшие люди, предполагая, что они являются и самыми мужественными, переживают также и далеко более мучительные трагедии — но именно в силу того чтут они жизнь, что она выставляет против них своих величайших противников.

18

К «интеллектуальной совести». Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие относится к векам сильной веры: когда даже при *принуждении* выставлять напоказ другую веру не отступались от той веры, которую имели. Нынче от нее отступаются; или, что еще обычнее, прибавляют себе еще вторую веру, — *честными* остаются во всяком случае. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде: возможно, т.е. дозволено, т.е. *безвредно*. Из этого возникает терпимость по отношению к самому себе. — Терпимость по отношению к самому себе допускает множество убеждений: они живут мирно вместе, они, как и всё нынче, остерегаются компрометировать себя. Чем компрометируешь

себя нынче? Если имеешь последовательность. Если идешь по прямой линии. Если являешься менее чем пятиличным. Если являешься неподдельным... Я очень боюсь, что современный человек просто слишком ленив для некоторых пороков: так что последние прямо-таки вымирают. Все злое, обусловленное сильной волей, — а быть может, нет ничего злого без силы воли — вырождается в нашем теплом воздухе в добродетель... Немногие лицемеры, с которыми я познакомился, подделывали лицемерие: они были, как в наши дни почти каждый десятый человек, актерами. —

19

Прекрасное и безобразное. Нет ничего более условного, скажем, более *ограниченного*, нежели наше чувство прекрасного. Кто захотел бы мыслить его свободным от удовольствия, доставляемого человеку человеком, тот потерял бы тотчас же почву под ногами. «Прекрасное само по себе» есть просто слово, даже не понятие. В прекрасном человек делает себя мерилom совершенства; в избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род совершенно не *может* не говорить таким образом одному себе Да. *Самый низший* его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, излучается даже в таких возвышенных вещах. Человек считает и самый мир обремененным красотой, — он *забывает* себя как ее причину. Он один одарил его красотой, ах! только человеческой, слишком человеческой красотой... В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным все, что отражает ему его образ: суждение «прекрасное» есть его родовое *тщеславие*... Скептику именно маленькое недоверие может шепнуть на ухо вопрос: действитель-

но ли мир украшается тем, что как раз человек считает его прекрасным? Он *очеловечил* его — вот и все. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, рискованно? быть может, даже забавно? быть может, немного своеобразно?.. «О Дионис, божественный, зачем тянешь ты меня за уши?» — спросила раз Ариадна во время одного из тех знаменитых диалогов на Наксосе своего философа-любовника. — «Я нахожу какой-то юмор в твоих ушах, Ариадна; почему они не еще длиннее?»

20

Ничто не прекрасно, только человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она ее *первая* истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобразно, кроме *вырождающегося* человека, — этим будет ограничена область эстетического суждения. — По физиологической поверке, все безобразное ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии; он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чувствует близость чего-то «безобразного». Его чувство власти, его воля к власти, его мужество, его гордость — все это умалывается вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным... Как в том, так и в другом случае *мы делаем одно заключение*: предпосылки для этого имеются в чудовищном избытии в инстинкте. Безобразное понимается как знак и симптом вырождения: что хоть самым отдаленным образом напоминает о вырождении, то вызывает

в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого вида несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, — все это вызывает одинаковую реакцию, оценку «безобразно». *Ненависть* вырывается здесь — кого ненавидит тут человек? Но в этом нет сомнения: *упадок своего типа*. Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода; в этой ненависти сказывается содрогание, осторожность, глубина, дальнзоркость, — это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу ее искусство *глубоко...*

21

Шопенгауэр. Шопенгауэр, последний немец, идущий в счет (представляющий собою *европейское* явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гейне, а не *только* местное, «национальное»), является для психолога случаем первого ранга: именно как злобно-гениальная попытка вывести в бой в пользу общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал, одно за другим, *искусство*, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании — величайшая психологическая фабрикация фальшивых монет, какая только есть в истории, за исключением христианства. Если взглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с тою только разницей, что также и *отвергнутое* хри-

стианством, великие факты культуры человечества, он сумел *одобрить* все еще в христианском, т.е. нигилистическом, смысле (именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как *stimulantia* потребности в «спасении»...)

22

Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о *красоте* с меланхолическим пылом, — почему, в конце концов? Потому что он видит в ней *мост*, который ведет дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она является для него освобождением от «воли» на мгновения — она влечет к освобождению навсегда... Особенно ценит он ее, как освободительницу от «лучецентра воли», от полового чувства, — в красоте он видит половой инстинкт *отрицаемым*... Удивительный святой! Кто-то противоречит тебе, боюсь, что природа. *Для чего* вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? что *вызывает* красота? — К счастью, ему противоречит также один философ. Не какой-нибудь менее значительный авторитет, а божественный

Платон (так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает другое положение: что всякая красота возбуждает к произрождению, — что это именно есть *progrium* ее действия, начиная с самого чувственного и кончая высшим духовным...

23

Платон идет дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не «христианином», он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской филосо-

фии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не дает ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. Тоже удивительный святой! — не веришь своим ушам, предполагая даже, что веришь Платону. По крайней мере угадываешь, что в Афинах философствовали *иначе*, прежде всего публично. Ничто не является в меньшей степени греческим, нежели плетение паутины понятий отшельником, *amor intellectualis dei**, на манер Спинозы. Философию в духе Платона можно бы скорее определить как эротическое соствязание, нежели как дальнейшее развитие и одухотворение древней атональной гимнастики и ее *предусловий*... Что выросло под конец из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого агон, диалектика. — Напомню еще, *против* Шопенгауэра и во славу Платона, о том, что также вся высшая культура и литература *классической* Франции выросла на почве полового интереса. В ней всюду можно искать галантность, чувства, половое соствязание, «женщину», — никогда не будешь искать напрасно...

24

L'art pour l'art. Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с *морализирующей* тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. L'art pour l'art означает: «черт побери мораль!» — Но и эта вражда еще указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди

* интеллектуальная любовь к Богу (*лат.*).

и улучшения человека, то из этого далеко еще не следует, что искусство бесполезно, бесцельно, бессмысленно, словом, что оно *l'art pour l'art* — червь, кусающий собственный хвост. «Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель!» — так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает: что делает всякое искусство? не восхваляет ли оно? не прославляет ли оно? не выбирает ли оно? не выдвигает ли оно? Всем этим оно *усиливает* или *ослабляет* известные оценки... Есть ли это только побочное явление? случай? нечто такое, в чем инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или наоборот: не является ли это предусловием того, что художник *может*?.. Направлен ли самый низший инстинкт его на искусство или же на смысл искусства, *жизнь*? на известную *желательность жизни*? — Искусство есть великий стимул к жизни — как можно считать его бесцельным, *l'art pour l'art*? — Остается один вопрос: ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни, — не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? — И в самом деле, были философы, придававшие ему такой смысл: Шопенгауэр учил, что «освобождение от воли» есть общая цель искусства, он видел великую пользу трагедии в том, что она «склоняет к резиньяции». — Но это, я уже говорил об этом, есть оптика пессимиста и «дурной глаз»: надо апеллировать к самим художникам. *Что сообщает о себе трагический художник?* Не показывает ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и загадочным? — Само это состояние является высшей желательностью; кто знает его, тот чтит его высшими почестями. Он сообщает о нем, он *должен* о нем сообщать, предполагая, что он художник, гений сообщения. Мужество и сво-

бода чувства перед мощным врагом, перед бедствием высшего порядка, перед проблемой, возбуждающей ужас, — вот то *победное* состояние, которое выбирает трагический художник, которое он прославляет. Перед трагедией воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к страданию, кто ищет страдания, *героический* человек, платит трагедией за свое существование, — ему одному дает трагический поэт отведать напитка этой сладчайшей жестокости. —

25

Быть невзыскательным к людям, держать открытым свое сердце — это либерально, но и только либерально. Сердца, способные на *аристократическое* гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням: свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? — Потому что они ждут гостей, к которым *не* бывают «невзыскательны»...

26

Мы уже не достаточно ценим себя, если рассказываем о себе. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы хотели. Это происходит оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже *вульгаризируется* говорящий. — Из морали для глухонемых и других философов.

«Это изображение чарующе прекрасно!»... Литературная женщина, неудовлетворенная, возбужденная, бесплодная сердцем и чревом, постоянно прислушивающаяся с мучительным любопытством к императиву, шепчущему из глубин ее организации «aut liberi aut liberi»*: литературная женщина, достаточно образованная, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, а с другой стороны, тщеславная и в достаточной степени гусыня, чтобы втайне все еще говорить с собою по-французски: «je me verrai, je me lirai, je m'extasierai et je dirai: Possible, que j'aie eu tant d'esprit?»**...

«Безличные» начинают говорить. — «Ничто не удастся нам так легко, как быть мудрыми, терпеливыми, обладающими превосходством. Мы пропитались насквозь маслом снисхождения и сочувствия, мы абсурдно справедливы, мы прощаем все. Именно поэтому нам следовало бы держать себя несколько строже; именно поэтому нам следовало бы время от времени *выращивать* себе маленький аффект, маленький порочный аффект. Пусть это нам и трудно; и между собою мы, быть может, смеемся над видом, который мы при этом представляем. Но что же делать! У нас не осталось никакого другого способа самопреодоления — это *наш* аскетизм, *наше* покаяние»... *Сделаться личным* — добродетель «безличного»...

* или дети, или книги (лат.).

** я погляжу на себя, я прочту себя, я восхищусь собою, и я скажу: Возможно ли, чтобы я была так умна (фр.).

Из докторской диссертации. «Какова задача всякой высшей школы?» — Сделать из человека машину. — «Что служит средством для этого?» — Он должен научиться скучать. — «Как достигается это?» — С помощью понятия долга. — «Кто является для него образцом в этом отношении?» — Филолог: он учит *зубрить*. — «Кто является совершенным человеком?» — Государственный чиновник. — «Какая философия дает высшую формулу для государственного чиновника?» — Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, поставленный судьбою над государственным чиновником как явлением. —

Право на глупость. Усталый и медленно дышащий работник, который глядит добродушно, который предоставляет событиям идти так, как они идут: эта типичная фигура, встречаемая теперь, в эпоху работы (а *также* «империи»!) во всех классах общества, заявляет нынче свои притязания именно на *искусство*, включая сюда книгу, прежде всего газету, — во сколько же раз более на прекрасную природу, Италию... Вечерний человек с «уснувшими дикими инстинктами», о которых говорит Фауст, нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в глетчере, в Байрейте... В такие эпохи искусство имеет право на *чистую глупость*, — как на нечто вроде каникул для ума, юмора и чувства. Это понял Вагнер. *Чистая глупость* восстанавливает вновь...

31

Еще одна проблема диеты. Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли: чудовищные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки — это, говоря вообще, меры сохранения и предохранения от крайней хрупкости той нежной и под высшим давлением работающей машины, которая называется гением. —

32

Имморалист говорит. Ничто так не претит вкусу философа, нежели человек, *поскольку он желает...* Если он видит человека только за его делом, если он видит это храбрейшее, хитрейшее, выносливейшее животное даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным удивления кажется ему человек! Он еще поощряет его... Но философ презирает желающего человека, а также «желательного» человека — и вообще все желательности, все *идеалы* человека. Если бы философ мог быть нигилистом, то был бы им, ибо он находит ничто за всеми идеалами человека. Или даже не только ничто, — а лишь ничего не стоящее, абсурдное, болезненное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из *выпитого* кубка его жизни... Отчего это происходит, что человек, который так достоин в качестве реальности, не заслуживает никакого уважения, раз он желает? Разве он должен искупать то, что он так ценен в качестве реальности? Разве он должен вознаграждать свою деятельность, напряжение ума и воли во всякой деятельности, ле-

жанием вращаясь в воображаемом и абсурдном? — История его желательностей была до сих пор *partie honteuse* человека: надо остерегаться читать ее слишком долго. Что оправдывает человека, так это его реальность, — она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь только желательным, воображаемым, выганным человеком? с каким-нибудь *идеальным* человеком?.. И лишь идеальный человек приходится не по вкусу философу.

33

Естественная ценность эгоизма. Эгоизм стоит столько, *сколько* физиологически стоит тот, кто им обладает: он может быть очень ценным, он может быть ничего не стоящим и презренным. Каждый человек может быть рассматриваем в зависимости от того, представляет ли он восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса служит вместе с тем и канон для того, чего стоит его эгоизм. Если он представляет восхождение линии, то ценность его действительно огромна, — и ради всей жизни, которая делает в лице его шаг *далее*, его забота о сохранении, о создании своего *optimum* условий может быть сама крайней. Отдельный человек, «индивидуум», как его до сих пор понимали толпа и философ, есть ведь заблуждение: он не есть что-либо самостоятельное, не атом, не «звено цепи», не что-либо только унаследованное от прошлого, — он есть *одна* цельная линия «человек» вплоть до него самого... Если он представляет собою нисходящее развитие, гибель, хроническое вырождение, болезнь (болезни, говоря вообще, являются уже следствиями гибели,

а не ее причинами), то ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше *отнимал* у удачных. Он только их паразит...

34

Христианин и анархист. Если анархист, как глашатай *нисходящих* слоев общества, требует с красивым негодованием «права», «справедливости», «равных прав», то он находится в этом случае лишь под давлением своей некультурности, которая не может понять, *почему* он, собственно, страдает тем, *чем* он беден, — жизнью. Один причинный инстинкт могуч в нем: кто-нибудь должен быть виновен в том, что он себя плохо чувствует... Да и само «красивое негодование» уже действует на него благотворно; браниться — это удовольствие для всех бедняков, — это дает маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой ее выносят: маленькая доза *мести* есть в каждой жалобе; за свое скверное положение, а иногда даже за свою дрянность упрекают тех, у кого дело обстоит иначе, — как за несправедливость, как за *недозволенное* преимущество. «Если я *canaille*, то и ты должен бы быть таким же»: на основании этой логики производят революцию. — Сетование во всяком случае ничего не стоит: оно истекает из слабости. Приписывают ли свое дурное положение другим или *самим себе* — первое делает социалист, последнее, например, христианин, — это, собственно, не составляет никакой разницы. Общее, скажем также, *недостойное* в этом то, что некто должен быть *виновным* в том, что страдаешь, — словом, что страдающий приписывает себе против своего страдания мед мести.

Объектами этой потребности мести, как потребности *удовольствия*, являются случайные причины: страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую месть, — повторяю, если он христианин, то он находит их в *себе*... Христианин и анархист — оба суть *décadents*. — Но когда христианин осуждает «мир», клеветает на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого социалист-рабочий осуждает *общество*, клеветает на него, чернит его: сам «Страшный суд» есть сладкое утешение мести — революция, какой ожидает и социалист-рабочий, только несколько более отдаленная... Да и «тот мир» — для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот?..

35

Критика морали *décadence*. «Альтруистическая» мораль, мораль, при которой *пропадает* эгоизм, — остается при всяких обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это относится и к народам. Не хватает самого лучшего, когда начинает не хватать эгоизма. Инстинктивно выбирать вредное *себе*, быть *влекомым* «бескорыстными» мотивами — это почти формула для *décadence*. «Не искать *своей* пользы» — это просто моральный фиговый лист для совершенно иной, именно физиологической действительности: «я уже не умею *найти* своей пользы»... Дисгрегация инстинктов! — Конец человеку, если он становится альтруистом. — Вместо того чтобы сказать наивно «я больше ничего не стою», моральная ложь в устах *décadent* говорит: «все не стоит ничего, — *жизнь* не стоит ничего»... Такое суждение остается в конце концов большой опасностью, оно действует

заразительно, — на всей гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то как религия (христианство), то как философия (шопенгауэрщина). Порою такая выросшая из гнили ядовитая растительность отравляет своими испарениями далеко на тысячелетия *жизнь...*

36

Мораль для врачей. Больной — паразит общества. В известном состоянии неприлично продолжать жить. Прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, после того как потерял смысл жизни, *право* на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, — не рецепты, а каждый день новая доза *отвращения* к своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, *восходящей* жизни, требует беспощадного подавления и устранения *вырождающейся* жизни — например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить... Гордо умереть, если уже более нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что еще возможно действительное прощание, когда *еще существует* тот, кто прощается, равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, *подведение итога* жизни — все противоположное жалкой и ужасающей комедии, которую делало из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насильования совести, а родом самой

смерти — для оценки человека и его прошлого! — Здесь следует, наперекор всей трусости предрассудка, прежде всего восстановить правильную, т.е. физиологическую, оценку так называемой *естественной* смерти, — которая в конце концов является также лишь «неестественной», самоубийством. Никогда не гибнешь от кого-либо другого, а всегда от самого себя. Только это смерть при презреннейших условиях, не-свободная смерть, смерть не *вовремя*, смерть труса. Следовало бы, из любви к *жизни*, — желать иной смерти, свободной, сознательной, без случая, без неожиданности... Наконец, совет господам пессимистам и другим *décadents*. Не в наших руках воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку — ибо порою это ошибка — мы можем исправить. Если *уничтожаешь* себя, то делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь жить... Общество, что говорю я! сама *жизнь* имеет от этого большую выгоду, чем от какой-нибудь «жизни» в отречении, бледной немочи и другой добродетели, — освобождаешь других от своего вида, освобождаешь жизнь от *возражения*... Пессимизм, *pur, vert**, *доказывается только* самоопровержением господ пессимистов: надо сделать шаг далее в его логике, отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это делал Шопенгауэр, — надо *прежде всего отрицать Шопенгауэра*... Пессимизм, кстати сказать, как он ни заразителен, все же в общем не увеличивает болезненности данного времени, данного поколения: он является ее выражением. Ему подвергаются, как подвергаются холере: надо быть уже достаточно хилым для этого. Сам пессимизм не создает ни одного лишнего

* в чистом беспримесном виде (*фр.*).

décadent; напоминаю тот вывод статистики, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общей цифрой смертных случаев от других лет.

37

Стали ли мы нравственнее. Против моего понятия «по ту сторону добра и зла», как и следовало ожидать, ополчилась вся *ярость* морального отупения, которая, как известно, считается в Германии за саму мораль: я мог бы рассказать об этом премилые истории. Прежде всего мне предложили подумать о «неопровержимом превосходстве» нашего времени в нравственном суждении, о нашем действительно сделанном в этой области *прогрессе*: какого-нибудь Чезаре Борджа, по сравнению с нами, во все-де нельзя считать «высшим человеком», чем-то вроде *сверхчеловека*, как делаю это я... Один швейцарский редактор («Vund»'а) зашел так далеко, что, отдавая дань уважения мужеству на такое дерзновение, «понимает» смысл моего сочинения в том, что я предлагаю в нем уничтожить все пристойные чувства. Благодарю покорно! — Позволю себе в качестве ответа поставить вопрос, *действительно ли мы стали нравственнее?* Что все этому верят, есть уже возражение на это... Мы, современные люди, очень нежные, очень уязвимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки, в самом деле воображаем, что эта нежная человечность, которую мы собою являем, это *достигнутое* единодушие в пощаде, в готовности на помощь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждое время, так *должно* оно думать. Достоверно то, что мы не смеем

помещать себя в обстановку Ренессанса, даже не сме- ем мыслить себя в ней: наши нервы не выдержали бы этой действительности, не говоря уже о наших муску- лах. Но этой неспособностью доказывается не про- гресс, а лишь другое, более позднее состояние, более слабое, нежное, уязвимое, из которого необходимо рождается *богатая уступками* мораль. Если мы устра- ним мысленно нашу изнеженность и запоздалость, наше физиологическое одряхление, то и наша мораль «очеловечения» потеряет тотчас же свою ценность — сама по себе никакая мораль не имеет ценности, — она обесценит нас самих. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, с на- шей плотно наватованной гуманностью, ни за что не желающей ушибаться о камни, показались бы совре- менникам Цезаре Борджа уморительной комедией. В самом деле, мы невольно чересчур смешны с на- шими современными «добродетелями»... Умаление враждебных и возбуждающих недоверие инстинк- тов — а ведь в этом и состоит наш «прогресс» — пред- ставляет собою лишь одно из следствий в общем уменьшении *жизненности*: требуется во сто раз боль- ше труда, больше осторожности, чтобы отстаивать столь обусловленное, столь позднее существование. Тут взаимно помогают друг другу, тут каждый явля- ется больным и каждый санитаром. Это называется «добродетелью» — среди людей, которые знали бы еще и иную жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, это назвали бы иначе, быть мо- жет, «трусостью», «ничтожеством», «моралью старых баб»... Наше смягчение нравов — это мое положение, это, если угодно, мое *новшество* — есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наобо- рот, быть следствием избытка жизни. Тогда именно

смеют на многое отваживаться, многого требовать, а также много *расточать*. Что некогда было приправой жизни, то было бы для нас *ядом*... Быть индифферентными — а это тоже известная форма силы — для этого мы равным образом слишком стары, слишком поздны: наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал, то, что можно бы назвать *l'impressionisme morale*, есть лишнее выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему упадочному. То движение, которое пыталось с помощью шопенгауэровской *морали сострадания* стать на научную почву, — весьма неудачная попытка! — есть подлинное движение *decadence* в морали и как таковое глубоко родственно христианской морали. Сильные эпохи, *аристократические* культуры видят в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное. — О временах следует судить по их *позитивным силам* — и при этом выходит, что то столь расточительное и роковое время Ренессанса было последним *великим* временем, а мы, мы, современники, с нашей боязливой заботливостью о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, неприязнительности, законности, научности — накапливающие, расчетливые, машиноподобные — *слабое* время... Наши добродетели обусловлены, они *вызываются* нашей слабостью... «Равенство», известное фактическое уподобление, только заявляющее о себе в теории о «равных правах», относится, по существу, к упадку: пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, множественность типов, воля быть самим собой, отодвигаться от других, — то, что я называю *пафосом дистанции*, свойственно каждому *сильному* времени. Сила напряжения, дальность ее действия ме-

жду крайностями становится нынче все меньше, — крайности даже сглаживаются в конце концов, доходя до сходства... Все наши политические теории и государственные устройства, отнюдь не исключая «Германской империи», суть следствия, необходимые следствия упадка; несознаваемое влияние *décadence* проникло до самых идеалов отдельных наук. Моим возражением против всей социологии в Англии и во Франции остается то, что она знает из опыта только *упадочные формации* общества и вполне невинно принимает собственные упадочные инстинкты за *норму* социологической оценки. *Нисходящая* жизнь, умаление всякой организующей, т.е. разделяющей, вырывающей пропасти, подчиняющей одно другому силы, возведено в нынешней социологии в *идеал*... Наши социалисты суть *décadents*, но и господин Герберт Спенсер тоже *décadent* — он видит в победе альтруизма нечто достойное желания!..

38

Мое понятие свободы. Ценность вещи заключается иногда не в том, чего с помощью ее достигают, а в том, что за нее заплатили, — чего она нам *стоит*. Приведу пример. Либеральные учреждения тотчас же перестают быть либеральными, как только их добились: после этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные учреждения. Ведь известно, *до чего* они доводят: они подводят мины под волю к власти, они являются возведенной в мораль нивелировкой гор и долин, они делают маленькими, трусливыми и похотливыми, — они являются каждый раз торжеством стадного животного. Либерализм: по-немецки *обращение в стадных животных*... Те же

самые учреждения, пока за них еще борются, производят совсем другое действие; тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война, война за либеральные учреждения, которая в качестве войны позволяет *не-либеральным* инстинктам продолжать свое существование. И война воспитывает к свободе. Ибо что такое свобода? То, что имеешь волю к собственной ответственности. Что сохраняешь дистанцию, которая нас разделяет. Что становишься равнодушным к тягостям, суровости, лишениям, даже к жизни. Что готов жертвовать за свое дело людьми, не исключая и самого себя. Свобода означает, что мужские, боевые и победные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например над инстинктами «счастья». *Ставший свободным* человек, а в гораздо большей степени ставший свободным *ум*, топчет ногами тот презренный вид благоденствия, о котором мечтают мелкие лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и другие демократы. Свободный человек — *воин*. — Чем измеряется свобода, как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением, которое должно быть побеждено, трудом, который расходуешь, чтобы оставаться *наверху*. Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где постоянно побеждается высшее сопротивление: в пяти шагах от тирании, у самого порога опасности рабства. Это верно психологически, если понимать здесь под «тираном» непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к себе *maximum* авторитета и дисциплины, — прекраснейший тип этого Юлий Цезарь; это верно также и в политическом отношении, стоит лишь проследить ход истории. Народы, имевшие какую-либо ценность, *ставшие* ценными, никогда не

делались таковыми под влиянием либеральных учреждений: *великая опасность* делала из них нечто заслуживающее уважения, опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим *духом*, — которая *принуждает* нас быть сильными... *Первый принцип*: надо иметь необходимость быть сильным — иначе им не будешь никогда. — Те огромные теплицы для сильной, для сильнейшей породы людей, какая когда-либо доселе существовала, аристократические государства, подобные Риму и Венеции, понимали свободу как раз в том смысле, в каком я понимаю это слово: как нечто такое, что имеешь и *не* имеешь, чего *хочешь*, что *завоевываешь*...

39

Критика современности. Наши учреждения не стоят больше ничего — это общее мнение. Но в этом виноваты не они, а *мы*. После того как у нас пропали все инстинкты, из которых вырастают учреждения, для нас пропали вообще учреждения, потому что *мы* уже негодны для них. Демократизм был во все времена упадочной формой организующей силы: уже в «Человеческом, слишком человеческом» я охарактеризовал современную демократию со всеми ее половинчатостями, вроде «Германской империи», как *упадочную форму государства*. Чтобы существовали учреждения, должна существовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до злобы: воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперед, к *солидарности* цепи поколений вперед и назад *in infinitum*. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное *imperium Romanum*;

или подобное России, *единственной* державе, которая нынче является прочной, которая может ждать, которая еще может нечто обещать, — России, противополитию жалкому европейскому партикуляризму и нервозности, вступившим в критический период с основанием Германской империи... У всего Запада нет более тех инстинктов, из которых вырастают учреждения, из которых вырастает *будущее*: его «современному духу», быть может, ничто не приходится в такой степени не по нутру. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, — живут слишком безответственно: именно это называют «свободой». То, что *делает* из учреждений учреждения, презирается, ненавидится, отстраняется; воображают опасность нового рабства там, где хоть только произносится слово «авторитет». Так далеко идет *décadence* инстинкта ценностей у наших политиков, у наших политических партий: *они инстинктивно предпочитают* то, что разлагает, что ускоряет конец... Свидетельством этому служит *современный брак*. Из современного брака, очевидно, улетучилась всякая разумность — но это является возражением не против брака, а против современности. Разумность брака — она заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности: это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака — она заключалась в его принципиальной нерасторжимости: это давало ему такой тон, который, наперекор случайному чувству, страсти и мгновению, умел *сотворять к себе внимание*. Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам *по любви* устраняется именно основа брака, то, что только и *делает* из него учреждение. Учреждение

никогда не основывают на идиосинкразии, брак, как сказано, *не* основывают на «любви», — его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности (жена и ребенок как собственность), на *инстинкте властвования*, который постоянно организует себе самую маленькую область господства, семью, которому *нужны* дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы подготовить долгие задачи, инстинктивную солидарность веков. Брак, как учреждение, уже заключает в себе утверждение величайшей, прочнейшей организационной формы: если само общество не может *поручиться* за себя, как целое, до самых отдаленных будущих поколений, то брак вообще не имеет смысла. — Современный брак *потерял* свой смысл, — следовательно, он упраздняется. —

40

Рабочий вопрос. Глупость, в сущности вырождение инстинкта, являющееся нынче причиной *всех* глупостей, заключается в том, что существует рабочий вопрос. Об известных вещах *не спрашивают*: первый императив инстинкта. — Я совершенно не понимаю, что хотят сделать с европейским рабочим, после того как из него сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, чтобы не спрашивать все более и более, все с большей нескромностью. В конце концов, он имеет на своей стороне великое множество. Совершенно исчезла надежда, что тут слагается в сословие скромная и довольная собою порода человека, тип китайца: а это было бы разумно, это было бы именно необходимо. Что же сделали? — Всё, чтобы уничтожить в зародыше даже предусловие для этого, — ин-

стинкты, в силу которых рабочий возможен как сословие, возможен для *самого себя*, разрушили до основания самой непростительной бессмыслицей. Рабочего сделали воинственным, ему дали право союзов, политическое право голоса: что же удивительного, если рабочий смотрит нынче на свое существование уже как на бедствие (выражаясь морально, как на *несправедливость*)? Но чего *хотят*? спрашиваю еще раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств; если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства. —

41

«Свобода, которой я *не* разумею...» — В такие времена, как нынешние, быть предоставленным своим инстинктам является лишним злополучием. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, взаимно разрушают друг друга; я уже определил *современность* как физиологическое самопротиворечие. Разумность воспитания требовала бы, чтобы под железным гнетом была *парализована* по крайней мере одна из этих систем инстинктов, дабы позволить другой системе набираться сил, сделаться сильной, достигнуть господства. Нынче следовало бы делать возможным индивидуум, лишь *подстригая* его: возможным, т.е. *совершенным*... Происходит обратное: притязание на независимость, на свободное развитие, на *laissez aller* изъясняется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда *не была бы слишком строгой*, — это имеет место *in politicis*, это имеет место в искусстве. Но это симптом *decadence*: наше современное понятие «свобода» есть лишнее доказательство вырождения инстинкта. —

Где необходима вера. Ничто не является столь редким среди моралистов и святых, как честность; быть может, они говорят противное, быть может, они даже *верят* противному. Когда именно вера полезнее, действительнее, убедительнее, чем *сознательное* лицемерие, лицемерие инстинктивно становится *невинностью*: первое положение для понимания великих святых. Также и у философов, у другого вида святых, все ремесло их делает то, что они допускают лишь известные истины — именно такие, на которые их ремесло имеет *общественную* санкцию, — говоря по-кантовски, истины *практического* разума. Они знают, что они *должны* доказывать, в этом они практичны, — они узнают друг друга по тому, что они сходятся во взглядах относительно «истин». — «Ты не должен лгать» — по-немецки: *берегитесь*, господин философ, говорить правду...

На ухо консерваторам. Чего раньше не знали, что теперь знают, могли бы знать, — *обратное образование*, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. Мы, физиологи, по крайней мере знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное, — *они хотели* вернуть, *ввинтить* человечество до *прежней* меры добродетели. Мораль была всегда прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетели; еще и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали *двигаться* *раком*. Но никто не

волен быть раком. Нечего делать: *надо* идти вперед, хочу сказать, *шаг за шагом далее в décadence* (вот мое определение современного «прогресса»...). Можно *преградить* это развитие и тем запрудить самое вырождение, накопить его, сделать более бурным и *внезапным* — больше сделать нельзя ничего. —

44

Мое понятие о гении. Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накапливалось, сберегалось и сохранялось, — что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу. Что значит тогда окружение, эпоха, «дух времени», «общественное мнение»? — Возьмем случай Наполеона. Франция времен революции, а еще более Франция до революции, породила бы из своей среды тип, противоположный Наполеону; да она и *породила* его. И так как Наполеон был человеком *иного* закала, наследником более сильной, более долгой, более древней цивилизации, чем та, которая разлетелась вдребезги во Франции, то он стал здесь властелином, он один *был* здесь властелином. Великие люди необходимы, время же их появления случайно; что они почти всегда делаются господами над ним, это происходит оттого, что они сильнее, что они старше, что на них дольше собиралось. Между гением и его временем существует такое же отношение,

как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым: время относительно всегда гораздо более молодо, слабо, незрело, неуверенно, ребячливо. — Что нынче на этот счет во Франции думают *совершенно иначе* (в Германии тоже — но это не важно), что теория среды, истинная теория невротиков, стала там священной и почти научной, встречая веру в себя даже у физиологов, это «нехорошо пахнет», это наводит на печальные мысли. — И в Англии это понимают не иначе, но на сей счет не обманется ни один человек. У англичанина есть только два способа разделаться с гением и «великим человеком»: либо *демократически* на манер Бокля, либо *религиозно* на манер Карлейля. — *Опасность*, заключающаяся в великих людях и временах, чрезвычайна; истощение всякого вида, бесплодие идет за ними по пятам. Великий человек есть конец; великое время, Ренессанс например, есть конец. Гений — в творчестве, в деле — необходимо является расточителем: *что он расходует себя*, в этом его величие... Инстинкт самосохранения как бы снят с петель; чрезмерно мощное давление вырывающихся потоком сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют «жертвой»; восхваляют в этом его «героизм», его равнодушие к собственному благу, его самопожертвование идее, великому делу, отечеству — сплошные недоразумения... Он изливается, он переливается, он расходует себя, он не щадит себя, — с фатальностью, роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но если таким взрывчатым людям многим обязаны, то за это им также и много подарили, например: нечто вроде *высшей морали*... Это ведь в духе людской благодарности: она неверно *понимает* своих благодетелей. —

Преступник и что ему родственно. Тип преступника — это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным. Ему недостает зарослей, известной более свободной и более опасной природы и формы бытия, в которой все, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, *является правом*. Его *добродетели* изгнаны обществом; его живейшие инстинкты, которые он принес с собою, срastaются тотчас же с угнетающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестием. Но это уже почти *рецепт* для физиологического вырождения. Человек, который должен делать тайно то, что он лучше всего может, больше всего любит, должен делать с долгим напряжением, осторожностью, хитростью, становится анемичным; и так как он постоянно пожирает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство к этим инстинктам — он чувствует их фатальными. Это в обществе, в нашем прирученном, посредственном, оскопленном обществе, сын природы, пришедший с гор или из морских походов, необходимо вырождается в преступника. Или почти необходимо: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, — корсиканец Наполеон самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского — Достоевского, единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться: он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот *глубокий* человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных нем-

цев, нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал, — как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что их не считают благодетельными, полезными, — то чувство чандалы, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подземного; у них все становится бледнее, чем у таких, бытие которых озарено светом дня. Но почти все формы существования, считаемые нами нынче выдающимися, пребывали некогда в этом полумогильном воздухе: человек науки, артист, гений, свободомыслящий, актер, купец, человек, делающий великие открытия... Пока *жрец* считался высшим типом, *всякий* ценный вид человека был лишен ценности... Придет время — даю слово, — когда он будет считаться *низменнейшим, нашим* чандалю, лживейшей, непристойнейшей породой человека... Обращаю внимание на то, как еще и теперь, при самом мягком господстве обычая, какое только когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, каждая отстраненность, каждое долгое, слишком долгое *под*, каждая необычная, непрозрачная форма бытия приближает к тому типу, который завершает преступник. Все новаторы духа некоторое время имеют на челе бледное, фатальное клеймо чандалы: *не* потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти

каждому гению знакомо, как одна из фаз его развития, «катилинарное существование», чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже *есть*, что больше не *становится*... Катилина — форма предсуществования *всякого* Цезаря. —

46

Здесь вид свободный вдаль. Это может быть величием души, если философ молчит; это может быть любовью, если он противоречит себе; возможна учтивость познающего, которая лжет. Не без тонкости сказано: *il est indigne des grands coeurs de répandre le trouble qu'ils ressentent**: нужно только прибавить к этому, что не бояться *самого постыдного* может быть также величием души. Женщина, которая любит, жертвует своей честью; познающий, который «любит», жертвует, быть может, своей человечностью; Бог, который любил, стал жидом...

47

Красота не случай. Также и красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах вырабатывается: она, подобно гению, есть конечный результат накопленной работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делалось, многое не делалось — семнадцатый век во Франции достоин удивления и в том и в другом, — надо, чтобы в нем видели принцип выбора общества, места, одежды,

* недостойно великих сердец — обнаруживать испытываемое ими беспокойство (*фр.*).

полового удовлетворения; надо, чтобы красота предпочиталась выгоде, привычке, мнению, косности. Высшее правило: надо не «распускаться» также и перед самим собою. — Хорошие вещи чрезмерно дороги: и постоянно имеет силу закон, что тот, кто ими *обладает*, является иным человеком, чем тот, кто их *приобретает*. Все хорошее есть наследство: что не унаследовано, то несовершенно, то является началом... В Афинах во времена Цицерона, выражающего свое удивление по поводу этого факта, мужчины и юноши были гораздо красивее женщин: но какой работы и напряжения в служении красоте требовал там от себя мужской пол в течение столетий! — Тут надо именно не промахнуться насчет методики: голая дисциплина чувств и мыслей почти ноль (в этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое совершенно иллюзорно) — надо прежде всего убедить *тело*. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязательство жить лишь с такими людьми, которые не «распускаются», совершенно достаточно для того, чтобы сделаться самому значительным и избранным: через два-три поколения все это уже *переходит в духовную область*. Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с *надлежащего места* — не с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов): надлежащее место есть тело, наружность, диета, физиология, *остальное* вытекает отсюда... Греки остались поэтому *первым культурным событием* истории — они знали, они *делали* то, что было необходимо; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества. —

Прогресс в моем смысле. И я также говорю о «возвращении к природе», хотя это, собственно, не движение назад, а *восхождение* — вверх, в горную, свободную, даже страшную природу и естественность, в такую, которая играет великими задачами, *смеет* играть... Если говорить *аллегорически*: Наполеон был экземпляром «возвращения к природе», как я понимаю его (например, *in rebus tacticis**, еще более, как знают военные, в стратегии). — Но Руссо — куда, собственно, хотел *он* назад? Руссо, этот первый современный человек, идеалист и *canaille* в *одном* лице, которому нужно было моральное «достоинство», чтобы выносить собственный вид; больной от разнузданного тщеславия и разнузданного самопрезрения. Также и этот выродок, растянувшийся у порога нового времени, хотел «возвращения к природе» — куда, спрашиваю еще раз, хотел Руссо назад? Я ненавижу Руссо еще и *в* революции: она есть всемирно-историческое выражение для этой двойственности идеалиста и *canaille*. Кровавый фарс, которым разыгралась эта революция, ее «имморальность», мало меня трогает: я ненавижу ее *моральность* в духе Руссо — так называемые «истины» революции, которые все еще не утратили влияния и привлекают к ней все плоское и посредственное. Учение о равенстве!.. Но нет более ядовитого яда: ибо *кажется*, что его проповедует сама справедливость, тогда как оно *конец* справедливости... «Равным равное, неравным неравное — *это* было бы истинной речью справедливости — и, как отсюда следует, никогда не делать равным неравное». — Что это учение о равенстве сопровождалось такими страшны-

* в вопросах тактики (*лат.*).

ми и кровавыми событиями, это придало названной «новой идее» *rag excellence* нечто вроде блеска и ореола, отчего революция и соблазнила, как *зрелище*, даже благороднейшие умы. В конце концов, это не основание чтить ее более. — Я вижу лишь одного, кто смотрел на нее, как и должно, с *отвращением*, — Гёте...

49

Göthe — явление не немецкое, а европейское: грандиозная попытка победить восемнадцатый век возвращением к природе, *восхождением* к естественности Ренессанса, нечто вроде самопреодоления со стороны этого века. — Он носил в себе его сильнейшие инстинкты: чувствительность, идолатрию природы, антиисторическое, идеалистическое, нереальное, революционное (последнее есть лишь известная форма нереального). Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, равным образом Спинозу, прежде всего практическую деятельность; он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами; он не освобождался от жизни, он входил в нее; он не был робким и брал, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это *цельности*; он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли (которую в ужасающей схоластике проповедовал *Кант*, антипод Гёте), он дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя... Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом: он говорил Да всему, что было ему родственно в этом, — в его жизни не было более великого события, нежели то *ens realissimum*, которое называлось Наполеоном. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя в узде, уважаю-

щего самого себя человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, обладающего терпимостью, не вследствие слабости, а вследствие силы, так как даже то, от чего погибла бы средняя натура, он умеет использовать к своей выгоде; человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что *слабость*, все равно, называется она пороком или добродетелью... Такой *ставший свободным* дух пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, *веруя*, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверждается, — *он не отрицает более...* Но такая вера — высшая из всех возможных: я окрестил ее по имени *Диониса*. —

50

Можно бы сказать, что в известном смысле девятнадцатый век *также* стремился ко всему тому, к чему стремился Гёте как личность: к универсальности в понимании, в одобрении, к допусканию-к-себе-чего-угодно, к смелому реализму, к благоговению перед всем фактическим. Отчего же общим результатом этого является не какой-нибудь Гёте, а хаос, нигилистические стенания, незнание-где-вход-где-выход, инстинкт усталости, который *in pгах* постоянно побуждает к тому, чтобы *вернуться к восемнадцатому веку* (например, как романтизм чувства, как альтруизм и гиперсентиментальность, как феминизм во вкусе, как социализм в политике)? Не есть ли девятнадцатый век, особенно в своем конце, лишь усиленный, *загробивший* восемнадцатый век, т.е. век *décadence*? Так что, Гёте был не только для Германии,

но и для всей Европы лишь случайным явлением, прекрасным «напрасно»? — Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, *это само, быть может, относится к величию...*

51

Гёте — последний немец, к которому я отношусь с уважением: он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я, — мы сходимся также и насчет «креста»... Меня часто спрашивают, для чего я, собственно, пишу *по-немецки*: нигде не читают меня хуже, чем в отечестве. Но кто знает в конце концов, да *желаю* ли я еще, чтобы меня читали нынче? — Создавать вещи, на которых время будет напрасно пробовать свои зубы; по форме, *по субстанции* домогаться маленького бессмертия — я никогда еще не был достаточно скромн, чтобы желать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, — чего всякий другой *не* скажет в целой книге...

Я дал человечеству самую глубокую книгу, какою оно обладает, моего «*Заратустру*»: в непродолжительном времени я дам ему самую независимую. —

ЧЕМ Я ОБЯЗАН ДРЕВНИМ

1

В заключение несколько слов о том мире, к которому я искал доступы, к которому я, быть может, нашел новый доступ, — об античном мире. Мой вкус, являющийся, пожалуй, противоположностью снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы говорить Да всему вместе: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а охотнее всего не говорит совершенно ничего... Это относится к целым культурам, это относится к книгам, — это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, я прочел в своей жизни очень небольшое число античных книг, не считая знаменитейших. Мое чувство стиля, чувство эпиграммы как стиля, пробудилось почти мгновенно при соприкосновении с Саллюстием. Я не забыл изумления моего уважаемого учителя Корссена, когда он должен был поставить высшую отметку своему худшему латинисту, — я кончил одним ударом. Сжатый, строгий, с наибольшим количеством субстанции в основе, с холодной злобой к «прекрасным словам», а также к «прекрасным чувствам» — по этому я угадал себя. Всюду вплоть до моего «Заратустры» у меня опознают очень серьезное притязание на *римский* стиль, на «aere perennius» в стиле. — Не иначе было со мною

при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не приводил меня в такое артистическое восхищение, в какое приводила меня с самого начала ода Горация. В известных языках нельзя даже *желать* того, что здесь достигнуто. Эта мозаика слов, где каждое слово как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу и вправо, и влево, и на целое, это *minimum* объема и числа знаков, это достигаемое таким путем *maximum* энергии знаков — все это в римском духе и, если поверят мне, *аристократично* *par excellence*. Вся остальная поэзия является по сравнению с этим чем-то слишком популярным, — простой болтливостью чувств...

2

Грекам я отнюдь не обязан подобными по силе впечатлениями; и, говорю это прямо, они не *могут* быть для нас тем, чем являются римляне. *Учатся* не у греков — их порода слишком чужда нам, она также слишком текуча, чтобы действовать императивно, действовать «классически». Кто учился когда-либо писать у грека! Кто учился этому когда-либо *без* римлян!.. Пусть мне не возражают Платоном. По отношению к Платону я радикальный скептик и никогда не был в состоянии присоединить свой голос к обычному среди ученых удивлению, возбуждаемому *артистом* Платоном. В конце концов, тут на моей стороне даже утонченнейшие судьи вкуса из древних. Платон, как мне кажется, беспорядочно смешивает все формы стиля, он является поэтом *первым* *décadent* стиля: у него на совести лежит нечто вроде того, что у циников, которые изобрели *satura Menippea*. Чтобы платоновский диалог, этот ужасающе самодовольный

и детский вид диалектики, мог действовать возбуждающе, для этого надо быть совершенно неизвестным с хорошими французскими авторами, — с Фонтенелем например. Платон скучен. В конце концов мое недоверие к Платону становится глубже: я нахожу его в такой степени отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, в такой степени пропитанным моралью, в такой степени предформой христианина — у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, — что я охотнее применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм, — чем какое-нибудь другое слово. Дорого пришлось заплатить за то, что этот афинянин поучался у египтян (или у евреев в Египте?..). В великом роковом событии, именуемом христианством, Платон является той названной «идеалом» двусмысленностью и приманкой, которая сделала возможным для более благородных натур древности неправильно понять самих себя и вступить на *мост*, который вел к «кресту»... И сколько Платона еще в понятии «церковь», в строе, системе, практике церкви! — Моим отдыхом, моим пристрастием, моим *исцелением* от всякого платонизма был всегда *Фукидид*. Фукидид и, быть может, *principe* Макиавелли ближе всего родственны мне самому безусловной волей ничем себя не морочить и видеть разумность в *реальности* — а не в «разуме», еще того менее в «морали»... От жалкого размалевывания греков в идеал, которое «классически образованный» юноша уносит с собою в жизнь как награду за свою гимназическую дрессуру, ничто не вылечивает так радикально, как Фукидид. Надо выворачивать его строка за строкой и так же отчетливо читать его задние мысли, как его слова: мало найдется мыслите-

лей, столь богатых задними мыслями. В нем получает свое законченное выражение *культура софистов*, я хотел сказать *культура реалистов*: это неоцененное движение среди всюду прорывающегося шарлатанства морали и идеала сократических школ. Греческая философия как *décadence* греческого инстинкта; Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина. *Мужество* перед реальностью различает в конце концов такие натуры, как Фукидид и Платон: Платон — трус перед реальностью, — *следовательно*, он ищет убежища в идеале; Фукидид владеет *собой*, следовательно, он сохраняет также и владычество над вещами...

3

Пронюхать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и другие совершенства, удивляться, например, их спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте — от этой «высокой простоты», этой *niaiserie allemande* в конце концов, меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта, — я видел, что все их учреждения выросли из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего *взрывчатого вещества*. Чудовищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины терзали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, — она подстерегала всюду. Великолепно

развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был *нуждою*, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал вначале. Да и празднествами и искусствами не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя *наверху*, *показываться* наверху: это средства прославлять самих себя, порою возбуждать страх перед собой... Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться хотя бы простодушием сократических школ для объяснения того, *что* такое, в сущности, эллинское!.. Ведь философы — *décadents* эллинства, они олицетворяют собою восстание против старого, аристократического вкуса (против атонального инстинкта, против *polis*, против ценности расы, против авторитета происхождения). Сократовские добродетели были проповедуемы, *потому что* они пропали у греков: раздражительные, боязливые, непостоянные, комедианты все до одного, они имели несколько лишних причин позволить проповедовать себе мораль. Не то чтобы это чему-нибудь помогло, — но высокие слова и величественные позы так к лицу *décadents*...

4

Я был первым, кто, для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнесся серьезно к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно *избытком* силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих нынче, как Якоб Буркхардт в Базеле, тот поймет тотчас же, что этим кое-что сделано: Буркхардт включил в свою «Культуру греков» специальную главу о названном феномене. Если угодно познако-

миться с противоположным отношением к делу, то стоит только посмотреть на почти забавную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно знаменитый Лобек, который с достопочтенной уверенностью выскохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя в своей научности, заключавшейся в том, что он был до отвращения легкомыслен и ребячлив, — Лобек дал понять со всею ученостью, что, в сущности, все эти курьезы не имеют никакого значения. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишенное ценности, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весной распускаются, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми буквально зарос античный мир, то Лобек находит в нем повод повысить свое остроумие еще на один градус. «Греки, — говорит он, *Aglaophamus*, — если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, они сидели, плакали и вопили. *Другие* присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины изумительного явления; так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные сказания о празднествах и мифы. Другая сторона полагала, что те *забавы*, которые, раз уж имели место в дни празднеств, являлись необходимой составной частью празднований, и соблюдала их как необходимую часть богослужения». — Это презренная болтовня, к такому Лобеку нельзя ни минуты относиться серьезно. Совершенно иное впечатление получим мы,

если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с тем элементом, из которого вырастает дионисическое искусство, — с оргиазмом. Я действительно не сомневаюсь в том, что Гёте принципиально исключал нечто подобное из возможностей греческой души. *Следовательно, Гёте не понимал греков.* Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражается *основной факт* эллинского инстинкта — его «воля к жизни». *Что* гарантировал себе эллин этими Мистериями? *Вечную* жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да по отношению к жизни наперекор смерти и изменению; *истинную* жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому в *половом* символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия. Все отдельное в акте соития, беременности, родов возбуждало высшие и полные торжества чувства. В учении Мистерий освящено *страдание*: «муки роженицы» освящают страдание вообще, — всякое становление и рост, все гарантирующее будущность *обуславливает* страдание... Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала сама себя, для этого *должны* также существовать «муки роженицы»... Все это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта *греческая* символика, символика дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, — самый путь к жизни, соитие, понимается как *священный путь*...

Только христианство со своим *ressentiment по отношению* к жизни, лежащим в его основе, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно запачкало *грязью* начало, предусловие нашей жизни...

5

Психология оргазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, в котором даже страдание действует как возбуждающее средство, дала мне ключ к понятию *трагического* чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в смысле Шопенгауэра, что скорее может быть считаема решительным отклонением и *противоинстанцией* его. Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в *жертве* своими высшими типами собственной неисчерпаемости, — *вот что* назвал я дионисическим, *вот в чем* угадал я мост к психологии *трагического* поэта. *Не* для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому* вечной радостью становления, — той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения*... Но тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, — «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое хотение, моя *мочь*, — я, последний ученик философа Диониса, — я, учитель вечного возвращения...

МОЛОТ ГОВОРИТ

«Так говорил Заратустра»

«Зачем так тверд! — сказал однажды древесный уголь алмазу. — Разве мы не близкие родственники?» —

Зачем так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не мои братья?

Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем? Так мало рока во взоре вашем?

А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — победить?

А если ваша твердость не хочет сверкать и резать и рассекать, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — созидать?

Все созидающие именно тверды. И блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск, —

— блаженством, писать на воле тысячелетий, как на бронзе, — тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза. Совершенно твердо только благороднейшее.

Эту новую скрижаль, о братья мои, даю я вам: станьте тверды! —

Содержание

АНТИХРИСТ. Проклятие христианству.	3
ЕССЕ НОМО. Как становятся сами собою	103
Предисловие	105
Почему я так мудр	110
Почему я так умен	127
Почему я пишу такие хорошие книги	149
Рождение трагедии	161
Несвоевременные.	168
Человеческое, слишком человеческое (с двумя продолжениями).	174
Утренняя заря (мысли о морали как предрассудке)	182
Веселая наука («la gaia scienza»)	186
Так говорил Заратустра (книга для всех и ни для кого)	188
По ту сторону добра и зла (прелюдия к философии будущего)	205
Генеалогия морали (полемическое сочинение).	207
Сумерки идолов (как философствуют молотом)	209
Казус Вагнер (проблема музыканта)	212
Почему являюсь я роком	220

СУМЕРКИ ИДОЛОВ, или Как философствуют молотом.	231
Предисловие.	233
Изречения и стрелы	235
Проблема Сократа	244
«Разум» в философии	252
Как «истинный мир» наконец стал басней (история одного заблуждения)	258
Мораль как противоестественность.	260
Четыре великих заблуждения.	267
«Исправители» человечества	278
Чего недостает немцам	283
Набеги несвоевременного.	292
Чем я обязан древним	341
Молот говорит.	349

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Научно-популярное издание

Ницше Фридрих
Антихрист
Ессе Номо
Сумерки идолов

Ответственный редактор *Е. Трушечкина*
Компьютерная верстка: *Р. Рыдалин*
Технический редактор *Т. Полонская*

Подписано в печать 04.04.2019. Формат 76x100^{1/32}.

Печать офсетная. Гарнитура Newton.

Усл. печ. л. 15,48. Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации

Изготовлено в 2019 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,
пом. 1, 7 этаж.

Наш электронный адрес: www.ast.ru. Интернет-магазин: www.book24.ru.

E-mail: neoclassic@ast.ru. ВКонтakte: vk.com/ast_neoclassic.

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, Жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 705 бөлме, пом. 1, 7-кабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий
в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында
наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл — «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы

к., Домбровский көш., 3«а», Б литері офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91,

факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өндірілген жылы: 2019

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Фридрих Ницше (1844 – 1900) – выдающийся немецкий философ, чьи воззрения и искания стали чрезвычайно востребованы лишь после его смерти. Философ века девятнадцатого, он стал символом века двадцатого. Его труды – «По ту сторону добра и зла», «Сумерки идолов», «Злая мудрость», «Антихрист» и, конечно, «Так говорил Заратустра» – известны во всем мире.

ФРИДРИХ

НИЦШЕ

Что такое христианство? Религия добра и милосердия – или «религия неудачников», связывающая руки сильной личности и опутывающая верующих комплексом вины? Как следует поступать со своими «внутренними демонами»? Подавлять ли их, загоняя все глубже, или, напротив, научиться принимать их – ведь таков лучший способ ими управлять?

И, наконец, что важнее – чувственное или интеллектуальное восприятие мира? Нравственность, контролирующая инстинкты, или сами эти инстинкты?.. «Антихрист» и «Ессе Номо» ждали выхода в свет годами. Даже учитывая скандальную славу «ниспровергателя общественной морали» и кумира бунтующей молодежи, которая уже окружала автора «Так говорил Заратустра» ко времени их написания, не находилось издателя, который рискнул бы опубликовать такие тексты. Однако в 1895 году они все же были изданы – и грянул гром. Их запрещали и осуждали. Автор предавали моральной анафеме. А его учение тем временем захватывало умы все новых и новых молодых интеллектуалов...

ISBN 978-5-17-115205-5



9 785171 152055



*АНТИХРИСТ
ЕССЕ НОМО
СУМЕРКИ ИДОЛОВ*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А